Игорь Золотусский

Федор Абрамов



Игорь Золотусский

Федор Абрамов

«Писатели
Советской
России»



Москва
«Советская
Россия»
1986

Игорь Золотусский

Федор Абрамов

Личность
Книги
Судьба

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Рецензент Ф. Ф. Кузнецов

Художник Д. А. Аникеев

Золотусский И. П.

З-81 Федор Абрамов: Личность. Книги. Судьба. — М.: Сов. Россия, 1986. — 160 с.

В книге рассказывается о судьбе и творчестве крупного советского писателя Федора Александровича Абрамова (1920—1983), автора известного романа-тетралогии «Братья и сестры», повестей «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька», остропроблемного очерка «Вокруг да около» и других произведений, посвященных людям русской северной деревни.

З $\frac{4603010102-237}{М-105(03)86}$ КБ—31—19—1986 8Р2

Оглавление

Все минется, одна правда останется.
Русская народная пословица

I. Чистая книга

26 марта 1981 года в Архангельском областном архиве было заведено «Личное дело» № 2475. В «Анкету исследователя, работающего в читальном зале», была внесена запись: «Федор Александрович Абрамов. Писатель. Работа по теме: «Русский Север и революция 1905 г.»

Я листал это «Дело» на втором этаже нового каменного здания на берегу Северной Двины в Архангельске. Был август, небо было покрыто тучами. Откуда-то от устья — с той стороны, где угадывался океан, — наносило дождь, дул ветер. Небо изредка просветлялось, сквозь тучи прорывалась голубизна, но это была не обычная голубизна среднерусского неба, а сиреневая голубизна какой-то особенной чистоты — чистоты, как бы промытой ледяной водой.

Родина Абрамова — далекая Пинега — лежит вблизи льдов. Их дыхание долетает сюда и весной и летом. То ударит мороз, подуют ледяные ветры, и полягут под ними травы, полягут хлеба. То среди лета — при ясном небе — так заледенит, что в пору облачаться в шубу.

В середине мая березки едва выпускают на свет свои листочки, они зеленым оперением окутывают белые стволы, а Пинега свинцово-холодна, хотя с некоторых пор цвет ее не свинцовый, а илисто-коричневый, цвет разбухшей в воде сосновой коры. В старое время

лес сплавляли на плотах, и ни одно бревнышко не оставалось в реке. Теперь сплав молевой — и вся Пинега забита топляками. Они-то и перекрасили ее в другой цвет.

Небольшая страна Пинежье, а в полтора раза больше Бельгии. Сама Пинега вытекает из двух речушек — Черной и Белой, и далее течет, сливая их воды, обмывая песчаные берега, неся и лес, и лодки, и пароходы (по весне и пароходы по ней ходят) в Северную Двину.

Сейчас до родины Абрамова добраться ничего не стоит. Полтора часа от Москвы до Архангельска самолетом, потом ночь поездом, а потом на машине до Верколы. Веркола — конечный пункт путешествия. Здесь родился Федор Абрамов, здесь он и похоронен.

Всю жизнь Абрамов описывал Пинегу, и только Пинегу. Он описывал ее такою, какой знал, какой видел. Он всегда полагался на собственное зрение, собственный опыт. Но в середине семидесятых годов он решил заглянуть в ту пору ее истории, которой не был свидетелем. Именно по этому поводу было заведено «Дело» № 2475. Именно поэтому Абрамов сел за архивы.

Что же читал он в архиве?

«Дела» Пинежского полицейского управления, «Дело о пинежской ярмарке», «О пересылке из Петербурга крестьянина Ивана Анакина», «О нефти в Мезенском уезде и нефтяном вопросе на Севере», «Об открытии бесплатной библиотеки в Пинежском уезде», «Дело о приезде в Пинегу великого князя Александра Николаевича», «Книгу о лицах под надзором», «Дело о пинежской городской больнице», «Губернские ведомости» за 1900—1903 гг., документы Архангельского губернского жандармского управления и Архангельского губчека, «списки иностранных подданных», «сведения об арестантах», «о торговом доме братьев Володиных».

Среди этих — отстуканных на старых «ундервудах» — прошений и отношений я наткнулся на бумагу, которая заставила меня прочитать ее полностью.

Вот что в ней было написано:

«Начальник
Архангельского
Губернского СЕКРЕТНО
Жандармского
Управления
13 января 1909 г. в донесение из предписания
№ 94 за № 5543

Препровождаю при сем Вашему Высокоблагородию отношение пинежского уездного исправника от 6 сего января за № 42 и протокол обыска, произведенного 29 декабря 1908 года у учителя Кучкасского училища Пинежского Алексея Федоровича КАЛИНЦЕВА вместе с отобранной у него при обыске брошюрой под заглавием «Народная школа в Германии, как она есть».

И. д. адъютанта Управления
ротмистр...»

Подписи ротмистра я не разобрал. Ротмистр, как и все начальники, подписывался неразборчиво.

Но мне и не нужна была эта подпись. Передо мной была бумага, в которой упоминались имя, отчество и фамилия учителя Федора Абрамова. Алексей Федорович Калинцев преподавал в Карпогорской школе, где учился Абрамов, ботанику и зоологию, геологию и географию, химию, астрономию и немецкий язык.

Память сразу отбросила меня к одному интервью, которое дал Абрамов в 1980 году. В нем он сказал: «Поделюсь секретом. У меня есть давний замысел написать повесть, роман — это уж как получится, — где деревня и интеллигенция существовали бы не в разных

потоках. Всем сердцем хочется воспеть подвиг интеллигенции нашего прошлого, армии земских врачей, учителей, сельских духовных пастырей».

Одним из таких пастырей был для Абрамова — и не только для Абрамова — Калинцев.

Калинцев был героем тех самых «малых дел», которым издавна посвящала себя интеллигенция. Выпускник учительской семинарии, он стал тем сеятелем разумного, доброго, вечного, которые нужны народу так же, как хлеб.

Алексей Федорович Калинцев (Абрамов называл его Учитель) пришел на Пинежье до революции и так и остался там, уча крестьянских детей.

Оказал ли он какое-то особое покровительство мальчику из Верколы? Нет. Но все, что делал Учитель, как он вел себя, с каким достоинством держался среди людей, запало в его память.

У Абрамова есть статья, которая называется «О первом учителе». В ней он рассказывает о своей первой встрече с Калинцевым на карпогорской улице. Тот идет по этой улице в «фетровой шляпе с приподнятыми полями», в пенсне, «в поскрипывающих на морозе ботинках с галошами», и все ему кланяются, а он в ответ, «слегка дотрагиваясь до шляпы рукой в кожаной перчатке», приветствует их: «Доброго здоровья! Доброго здоровья!»

Калинцев преподавал чуть ли не половину предметов в школе, вел школьный опытный участок, струнный кружок, «занимался ликвидацией неграмотности среди взрослого населения». Имея «феноменальные по тем временам знания», он был учитель-универсал, рыцарь идеи просветительства и одновременно ее слуга.

Интеллигент и учитель, как считал Абрамов, понятия-синонимы. Даже не являясь учителем по профессии, каждый интеллигент — учитель, пастырь своего

народа. На эту роль его избирает сам народ. Он отбирает лучших из лучших и делает их Учителями.

Крестьянский сын Абрамов, всю жизнь писавший о крестьянине и крестьянстве, почитал интеллигенцию. Даже став интеллигентом из интеллигентов, он склонял голову перед высокими умами. Но более всего он ценил в учителе человечность. Любящее сердце. Умение понимать маленького человека.

Фамилия учителя Абрамова напоминает имя героя романа «Дом» Калины Дунаева. Это люди одной эпохи, хотя Калина Дунаев моложе Калинцева. Он мог даже учиться у него, но потом пошел в революцию. Пути этих людей разные. Один отдал все идее, как говорил Гоголь, «просветления» России, другой — идее ломки, немедленного возведения во всех местах — и даже в пустыне — любимого им «сицилизма».

Оба хотят одного и того же — счастья для народа. И оба — люди чистые. Наверное поэтому их непересекающиеся пути сходятся в конце тридцатых годов в одной точке.

Калина Дунаев и Калинцев — фигуры, может быть, центральные для Абрамова. Каждый из них бросает свет на идеал его юности и на тот идеал, который, пройдя через тернии времени, должен был явиться в его новом романе.

Материалы к этому роману он и читал в архангельском архиве.

Абрамов никогда ранее не работал с историческим документом. В своих писаниях он полагался на собственный опыт, на личную память. Теперь предстояло через бумагу почувствовать дыхание отлетевшей жизни.

Он решил назвать свой роман «Чистая книга». О многом, слишком о многом говорило это название. Тут слились и чаяния чистоты правды и чаяния чистоты души, которая давно томилась от неполноты

выражения. Все же, как признавался Абрамов, он «не сказал всей правды о том времени, о котором писал».

«Вся правда» — вот перед чем он стоял. Вот чего алкала его совесть. Вся правда, — это чистая правда, это правда без оговорок, без увиливаний, без умолчаний.

Казалось, Абрамов засел в архивы надолго. Казалось, он не скоро оторвется от своих выписок и покинет Архангельск. Но он неожиданно снялся с места и уехал. Дела позвали его в Ленинград.

А 14 мая 1983 года Федора Абрамова не стало.

* * *

Он родился в «зимней избе» на верхнем — высоком — конце Верколы. Веркола, как говорят некоторые, это верхний кол, который как будто бы поставили здесь проплывавшие по Пинеге новгородцы. Вольные дети новгородской республики покоряли темную «чудь», оставляли на берегах рек поселения.

Так и зародилась Веркола. Верхний кол вбили, и от него пошла деревня. Большая — домов триста.

Федор Абрамов явился на свет 29 февраля 1920 года. Стоял високосный год. Трещал лед на реке. Солнце повернуло на лето, но морозы не ослабевали.

Шла гражданская война. В уездной Пинеге заседал штаб белых, а в захолустной Верколе — штаб красных. Белых только что выбили из монастыря за рекой. Брали монастырь штурмом.

Советская власть явно взяла верх, но что будет с крестьянством, с деревней, наконец, с Россией, никто не знал. Знали, может быть, в Москве, но не здесь, на севере.

Семья была бедная и большая. Вот что пишет о семье Абрамовых сестра писателя Мария Александ-

ровна[1]: «Родители мои крестьяне. Всю жизнь занимались крестьянским трудом: пахали землю, сеяли хлеб, заготовляли корм скоту. Отец Александр Степанович умер рано. Обувь была плохая, застудил ноги. Ногу отняли. Писал из больницы из Карпогор маме, чтоб обувь ребятам не отдавала в починку, сам приедет скоро и починит. И вдруг телеграмма: «Приезжайте за телом». Была распутица, и старший брат Михаил (ему всего было 15 лет) один ездил за мертвым отцом. Осталось нас у матери пять человек. Феде был только годик.

Мать в своей семье была самой младшей. Мой дедушка, ее отец, умер рано. Землей был наделен только он один. А у бабушки было пять человек детей и все девчонки. И всю жизнь до замужества ходили по работницам, чтоб прокормиться. А мама моя побиралась с коробкой в руках. «Помню, — говорила она, — снег-то начнет таять, а я босая ходила, с прогалинки на проталинку перескакиваю, ногу подтяну под себя и опять бегу». Вот такое было ее детство.

Мать говорила, что отец никогда на нее ни разу рук не приложил, плохим словом не обозвал».

Об отце Абрамова известно мало. Некоторые старые люди в деревне его помнят. Августа Александровна Стахеева из Смутова, что стоит на левой стороне Пинеги чуть повыше Верколы, говорила мне, что Александр Степанович был «смирный мужик».

Зато Степанида Павловна Заварзина, его жена, которую он взял с нижнего конца Верколы, была, наоборот, женщина строгая. На ее руках дети — мал мала меньше — с ними она подняла хозяйство и ко времени коллективизации, когда Абрамову было уже десять лет

---

[1] Отрывки из писем М. А. Абрамовой к автору публикуются впервые.

и он давно с братьями и сестрами трудился дома и в поле, в их дворе было две лошади, две коровы, «сенной бык» и полтора десятка овец. Они считались середняками.

Абрамов, как он сам признавался, даже ненавидел минутами мать за это рвение, за то, что, сделав их семью «твердозаданцами», она вымоталась сама, вымотала и детей, а ему, младшему из них, помешала вовремя перейти из начальной школы в пятилетку: повредил проклятый «достаток».

Однако Степанида Павловна своей твердой десницей вывела детей в люди. Никто из них не пропал, не погиб. Они выросли, встали на ноги, выучились.

«Да, мама хлебнула горя, — пишет Мария Александровна Абрамова. — Ведь колхозов еще не было, помощи ждать было неоткуда. Нужно было все самой делать и моему старшему брату. Он с 15 лет стал робить за мужика. Тут и Николай с Василием помогали. Потом и мы подросли, стали тоже помогать. Вода, дрова, корм для скота — это наша с Федором была работа. На мельницу с ним тоже ночевать ходили, чтоб мельник наше зерно молол. Мама о нас заботилась. Никогда не давала лечь спать голодными. Если уснем, то будила нас и заставляла есть. Федю особенно оберегал старший брат Михаил. Но и нас он никогда не наказывал. Михаил и Николай работали зимой на лесозаготовках. Домой приезжали, чтоб сена и дров привезти, в бане помыться и забрать хлеба, картошки... Михаил учился 3 года в школе, столько и Николай. Ведь нужно было работать.

Во время страды старший брат забирал всех на сенокос на дальние пожни верст за 30. Мы с мамой оставались дома. Мама жать уходила на поле, а я должна травы корове и овцам наносить. В лес сходить за голубикой.

Вася брат учился в ШРМ. Но в середине года из 7 класса ушел (поступил работать переписчиком в какую-то контору). Деньги были нужны. Я же в школу пошла поздно: мать не хотела меня вообще отпускать в школу: надо было прясть, ткать. Только по настоянию старшего брата 12 лет я пошла в школу.

Федя учился впереди меня. Он семи лет в школу пошел. Учился хорошо. Помню, в 3 классе ему дали премию за хорошую учебу: материи на брюки и ситцу на рубашку. Радости у нас у всех не было конца».

Школа в Верколе была за рекой, в здании бывшего монастыря. Этот монастырь Абрамов не раз поминает в своих романах. «За рекой вставала луна, — пишет он в «Братьях и сестрах», — огромная, багрово-красная, и казалось, отсветы пожарища, далекого и страшного, падают на белые развалины монастыря». «Время от времени, — читаем мы там же, — оттуда, где на красной щелье холодно сверкают сахарные развалины монастыря, доносился глухой и протяжный гул».

Гул этот раздавался весной, когда школу отрезал от деревни ледоход.

Все, кто помнит маленького Абрамова в ту пору, помнят его настырность, упрямство в учении, жадность к слову учителя, самолюбие.

В 1932 году он окончил начальную школу. «Окончил, — как пишет сам Абрамов, — первым учеником... А тогда как раз была создана первая... в округе пятилетка. И вот приняли всех детей бедняков, детей красных партизан... а меня, первого ученика, не приняли. Потому что я был сын середнячки... Это была страшная, горькая обида ребенку, для которого ученье — все. Но все, в конечном счете, в этом лучшем из миров кончается благополучно и зимой меня все-таки приняли в школу».

Это был первый факт несправедливости в жизни Абрамова. Он его пережил, но зарубка на сердце осталась. Как осталась и зарубка от первой любви, которая оказалась безответной.

Детство — наш поводырь в мире жизни. Вглядитесь попристальней во взрослого, и вы увидите в нем того, кем он был ребенком. Изменилось его лицо, может быть, голос, но сердце осталось то же.

Детские обиды тяжко ранят и долго живут. Они взывают к обороне, к защите, к выработке характера. Слабый пропадет, сильный устоит. Когда на человека давят, он сопротивляется. И это приучает его к тому, чтоб он надеялся на себя.

Абрамов сказал себе с детства: надейся на свои руки и на свою голову. Смотри на мать. Смотри на крестьянина, который с утра до ночи в поле или в уходе за скотиной, за хозяйством. Смотри на брата, который заменил семье отца.

Брата Михаила он особенно любил. Брату Михаилу посвятил Абрамов свой очерк «Вокруг да около». Именем брата назвал главного героя своих романов — Михаила Пряслина.

Брат умер в пятьдесят пять лет от туберкулеза. «Умер оттого, что, вернувшись по весне из больницы, отправился трушничать, то есть собирать по оттаявшим дорогам сенную труху, и простудился».

В книге рассказов «Трава-мурава» есть такое воспоминание о брате: «Который уже раз снится все один и тот же сон: с того света возвращается брат Михаил. Возвращается в страду, чтобы помочь своим и колхозу с заготовкой сена.

Это невероятно, невероятно даже во сне, и я даже во сне удивляюсь:

— Да как же тебя отпустили? Ведь оттуда, как земля стоит, еще никто не возвращался.

— Худо просят. А ежели хорошенько попросить, отпустят.

И я верю брату».

Что бы там ни толковали о влиянии жизни, это всегда влияние людей. Идеи приходят к нам через людей, вера передается от людей. Ни один принцип и ни одна идея не войдут к нам в сердце, если они, грубо говоря, не подкреплены примерами. Если за ними не стоят люди.

К счастью для Федора Абрамова, у него такие примеры были. Его не надо было обучать труду — он родился в семье, где все трудились, не разгибая спины. Его не надо было учить и товариществу — пример жизни в «мире» преподала ему та же семья. Ему не надо было внушать истину, что свет и во тьме светит и тьма не объемлет его, — он видел это на примере своей родной тетушки Ириньи и на примере Алексея Федоровича Калинцева.

Обращаясь к идее «Чистой книги» — идее служения интеллигенции своему народу, — он извлекал из народного опыта то лучшее и здоровое, что было близко ему самому.

Свою первую книгу он прочитал чуть ли не в седьмом классе. Но этот факт свидетельствует не о слабом интересе к книгам. Он прежде всего свидетельствует о том, что сыну Степаниды Павловны не одним чтением и ученьем приходилось жить.

«Овчины мама сама выделывала, — рассказывает М. А. Абрамова, — а отминали с овчин тесто мы с Федей. В бане мама нас мыла по очереди. Нажарит нас веником, и мы с Федей прямо в сугроб выбежим и купаемся.

В избе у нас всегда зимой было холодно. Стены сырые. Мы спали с ним и с мамой на печи или на полатях. Неважно жили, но всегда были сыты. Об этом мать заботилась.

...Федя очень хорошо брал ягоды. Чистые ягоды, брал быстро. Мама все его хвалила, что он лучше моего берет и чище. Да я и сама это видела.

Чтоб скопить на сенокос масла и творогу, в великий пост... мать запрещала есть молочное. Ну а Федя был лакомка. Любил, что повкуснее. И в отсутствие мамы любил что-либо съесть: сахар взять своей рукой, сметаны полизать, пенку снять с топленого масла, когда только из печи вынуто.

Мать узнает и нас обоих допрашивает. Мы не сознаемся. Тогда она берет нас на хитрость. Поставит обоих на лавку и скажет: «Смотрите на иконы. Тот, кто виноват, тот глаз не подымет на иконы. Ибо если подымет, то бог сразу камнем стукнет и убьет».

И тут сразу все станет ясно, кто пакостил. Я глаза выпучу на иконы, а Феденька весь съежится и голову опускает. Смешно, а тогда не было смешно. Мы верили, что бог может убить».

Закон семьи был закон законов для Абрамова. Все, что творится под крышей крестьянского дома, творится сообща, вместе. Вместе и радость в поле, на сенокосе, вместе и труд, и пот, при всех смерти, и свадьбы, и болезни. Земля держится домом, а дом — семьею. Нет отца — на его место встает старший брат, нет старшего брата — заступает младший.

Так, по крайней мере, было в семье Абрамовых. Когда Степаниду Павловну разбил паралич, ее взяли к себе брат и сестра; когда скончался старший брат, заботы о его семье взял на себя Абрамов. Он был последний из детей — самый младший — и ему пришлось принимать на себя горести и удары от утрат старших, от их ран и старения.

«Он все мне говорил, — пишет сестра Абрамова: — «Будешь ты у меня в золоте ходить. Все тебе будут завидовать». Конечно, золотых вещей он мне не купил,

да и к чему они? Помню, он мне говорил: «Ты гордая, никогда денег не попросишь». Я ему говорю: «Что ты, Федя, ведь я сама работаю, стыдно просить у тебя денег». Но когда я вышла на пенсию, он мне помогал деньгами. Он меня жалел.

Маму он жалел. Но что он мог сделать? Ведь она была прикована к постели. Он во время войны высылал мне денежный аттестат для мамы. Но на деньги ничего нельзя было купить. В деревне у нас был настоящий голод. Помню, у меня ученики у доски падали в обморок от голода.

Он очень жалел старшего брата. Вот и дочери его Галине купил кооперативную квартиру. Жалел всех племянников и племянниц».

Издревле на Руси «жалеть» означало «любить». Сердце у Абрамова было доброе. К нему не сразу можно было подойти, приблизиться — держал на расстоянии абрамовский хмурый взгляд. Взгляд из глубоких глазниц, из-подо лба, из-под нависших бровей. А то еще прядь волос упадет и закроет лоб, и кажется, что совсем нелюдим этот взгляд.

Абрамов был из тех «тяжелых натур», с которыми трудно сойтись, как, впрочем, трудно и разойтись. Ибо, полюбив его однажды, нельзя было разлюбить. Он мог обидеть, в горячности даже накричать на своего друга или того человека, которого любил, с ним легко было поссориться, но разойтись навсегда с Абрамовым было невозможно.

Он был страстен, нетерпим, скор в приговоре, в осуждении, в хуле на какой-то дурной поступок или на какого-то человека, но он был и отходчив, не держал зла на сердце, выказав его однажды, тут же остывал, а если бывал неправ, каялся и — у себя, по крайней мере, — просил прощения.

Иногда слова одного было достаточно, чтоб

просветлело лицо Абрамова, просияло даже — если это было родное ему слово, близкая мысль.

Так что хмурый взгляд его, которым он встречал незнакомца, как бы говорил незнакомцу: погоди. Не неволь меня знакомством и близостью. Разберусь, и если поверю, сам пойду тебе навстречу. Я хоть и гордый, но пойду.

Вспоминаю его кабинет в доме на Васильевском острове. Городская комната, а превращена в музей. И не для показухи, не для гостей это сделано, а для того, чтоб в городе — хотя бы в этом кабинете — побыть в Верколе. На полках и стеллажах деревянная посуда, туески, лукошки. Стоит в углу прялка. И — над скупым убранством этого кабинета-избы, на стене напротив входной двери — фотографический портрет матери.

Строгое, со стиснутыми, как у сына, тонкими губами, лицо. Лицо женщины, много страдавшей и много терпевшей и как бы окаменевшей в своем терпении.

Видя, что я смотрю на портрет матери, Абрамов сказал: «Мать у меня староверка была. Я в нее пошел».

* * *

«Когда гроб с телом отца,— вспоминает М. А. Абрамова, — стоял в избе, женщины все просили, чтоб малого бог прибрал, то есть Федю. Мать сказала: «Не умирать родился, жить». Тогда женщины сказали, что Степанида, видно, помешалась с горя».

Сила веры и любви матери, сила веры и любви семьи помогли ему выжить.

Абрамов считал это чудом. В его жизни было три чуда. Первое случилось в детстве, второе на фронте.

Вот что рассказывает об этом друг Абрамова, преподаватель Ленинградского университета А. Редина: «Ленинградский фронт. Ударному батальону приказано сделать лазы в проволочном заграждении. Зима. Мороз сковал болото. Местность открытая. Минометный обстрел. Укрытие — трупы погибших товарищей. Скольких сразила здесь вражеская пуля! Федор пополз к заграждению. В одной руке ножницы, в другой граната. Внезапно замечает перед собой немца. Бросает в него гранату, но немец успел выстрелить. Разрывные пули прошивают солдату ноги, бедра. Он теряет сознание. Уткнувшись лицом в землю, истекает кровью. Поземка заметает его.

Ночью специальная похоронная команда подбирала убитых. Посчитав мертвым и Федора Абрамова, волокут его на плащ-палатке в братскую могилу. Усталые, измученные солдаты с трудом передвигают ноги. Один из них спотыкается, падает и проливает из котелка воду мертвому на лицо.

Мертвый застонал. Так чудом остался жить Федор Абрамов».

О третьем чуде рассказал сам Абрамов в выступлении по телевидению: «Мне страшно повезло, конечно, я был в переплетах самых ужасных: так, через Ладогу пробирался уже в апреле месяце (речь идет о 1942 годе. — *И. З.*), там машина одна впереди с ребятишками блокадными, другая — с ранеными сзади пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулеметами и под обстрелом, под снарядами».

Абрамов всю свою жизнь считал себя должником тех, кто погиб на фронте. Потому что «погибли, может быть, самые талантливые, может быть, гениальные ребята». И потому что он остался жить — жить за всех них: я думаю, это чувство многих из тех, кто прошел войну. Каждый оставшийся в живых, в сущности,

счастливчик, избран судьбой — и долг его платить по счету судьбы, не стать банкротом.

Чувство долга было очень сильно в Абрамове. Оно сопрягалось с чувством вины перед теми, кто сделал ему добро и кому он не успел отплатить благодарностью. Этот долг особенно жег и преследовал его.

Таких людей было немало: старший брат — Абрамову казалось, что он слишком мало сделал для его жены, для своих племянников; врач из Ленинградского госпиталя, который не дал ему ампутировать ногу — его ранило разрывной пулей в бедро; учитель, который в 1937 году исчез бесследно из Карпогор.

«Хорошо поклониться святыне, — писал Абрамов в статье «О первом учителе». — Человеку это нужно в любом возрасте, в любом звании. И завидую, безмерно завидую тем, кто может постоять с обнаженной головой у могилы своего любимого учителя. Мы, пинежане, сделать этого не можем. Мы, пинежане, не уберегли нашего Учителя. Он пал жертвой подлой клеветы и наветов, и мы даже не знаем, где и как окончил он свои дни».

В 1984 году в Карпогорах одна старая учительница, коллега А. Ф. Калинцева, рассказала мне, что была свидетельницей эпизода, приведшего, быть может, к его аресту.

Однажды в учительской, глядя на фотографию Сталина, Алексей Федорович сказал: «Нехорошо, что здесь висит именно этот портрет (Сталин был снят на фотографии в шапке). Ученики будут брать пример и ходить через учительскую в шапках». Учительская в то время была проходной комнатой, и ребята, действительно, проходя через нее, часто не снимали шапок.

Эту реплику слышали и похоже, передали, куда следует.

Шла война в Испании. В школе писали сочинение на свободную тему. Федор Абрамов воспевал подвиги интербригадовцев, воздушные бои над Гвадалахарой и Мадридом. Учитель литературы, прочитав сочинение, похвалил его, но добавил: «Лучше пиши о том, что знаешь».

Это был совет, которым Федору Абрамову не скоро удалось воспользоваться. Через год он поступил в Ленинградский университет, а еще через три года началась война.

В день объявления войны он добивался, чтобы у него приняли экзамен. Он уже подал заявление о зачислении его добровольцем в ряды Красной Армии. Но он не хотел уходить на фронт с «хвостом». Абрамов как будто бы знал, что вернется.

Первое ранение, которое он получил под Ленинградом, было легким. Второе надолго уложило его на госпитальную койку. Собственно, не на койку, а на топчан, который стоял среди других топчанов в одной из аудиторий исторического факультета университета. Лежали вповалку, накрывались от холода матрацами, спали в ушанках. Голод и холод Ленинграда, вымершую жизнь города, который нес все своим бойцам, себе не оставляя ничего, Абрамов запомнил.

После того как его вывезли по Ледовой дороге на Большую землю, он был отпущен в отпуск на родину. Он поехал в Верколу и задержался там, долечиваясь, до зимы. Он увидел свою деревню, далекую от войны, но обескровленную войной. Он увидел здесь «второй фронт», как он говорил впоследствии, «фронт русской бабы», который стал действовать задолго до открытия официального второго фронта.

Это был фронт тыла, фронт дома, который оставили, уйдя на войну, мужики. Целый батальон солдат поставила Веркола фронту. Остались бабы да девки,

Остались старики и малые ребятишки. Не на чем было пахать и сеять. Пахали и сеяли на себе. Ели хлеб из мха с растертой сосновой корой. Девки и бабы валили лес, девки и бабы пропадали на сенокосе.

Тот, кто хочет понять чувство Абрамова, увидевшего все это, должен прочесть роман «Братья и сестры». Он начинается с приезда фронтовика Лукашина в деревню на Пинеге. И именно с Ленинградского фронта приезжает этот герой Абрамова в Пекашино.

Но если Лукашин остается в колхозе, то Абрамов, пробыв лето и осень в родной деревне, возвращается в армию. Его посылают служить в войска СМЕРШа. СМЕРШ — это «Смерть шпионам», армейская контрразведка.

В 1945 году Абрамов демобилизуется и вновь поступает в университет. Окончив курс, остается в аспирантуре и защищает диссертацию по творчеству Шолохова. Вскоре после защиты его избирают заведующим кафедрой советской литературы.

Как вспоминают очевидцы, Абрамов защищал свою диссертацию в дырявых ботинках. Жизненный уровень аспиранта был так невысок, что товарищи, скинувшись, подарили ему по случаю присуждения научного звания новые туфли.

Я так бегло рассказываю о его жизни, потому что факты иной раз красноречивее картин. К тому же, к фактам жизни и характеру Абрамова мы еще вернемся. Мы будем возвращаться к ним по мере рассказа о его сочинениях, о тех книгах, которые он написал. В конце концов писатель сам — как никто — описывает свою жизнь. Книги всегда история души автора, хотя автор, быть может, социально, географически и как угодно далек от изображаемых им событий.

Когда Федора Абрамова спрашивали, кого он считает своими учителями, он, конечно, называл старшего брата и Алексея Федоровича Калинцева. Но был и еще один близкий *пример* — пример чистой душевности, незлобивости и расположения к святым и грешным, который явила Абрамову его родная тетушка Иринья.

«Это была старая дева, — говорил о ней Абрамов, — ...что называется в народе, «христова невеста». Швея, со своей старенькой, разбитой машинкой «Зингер» она обходила, обшивала всю деревню. И приход ее в каждый дом был великой радостью, потому что вместе с тетушкой Ириньей в дома входил свет, входила благость, входили доброта, само милосердие, бескорыстие. И люди на глазах добрели. В семье прекращались, кончались всякие ссоры. И на неделю, иногда на десять дней, иногда на две недели, в зависимости от количества пошива в этом доме, воцарялось нечто вроде рождества или какой-то благоговейной тишины, какой-то удивительной красоты, доброты и сердечности.

Тетушка, конечно, у меня была очень религиозная, староверка. И она была начитанна, она прекрасно знала житийную литературу, любила духовные стихи, всякие апокрифы. И вот целыми вечерами, бывало, слушают, и я слушаю, и плачем, и умиляемся. И добреем сердцем, добреем сердцем. И набираемся самых хороших и добрых помыслов».

Тетушка Иринья — Ирина Павловна Заварзина — похоронена на веркольском кладбище недалеко от отца и матери Абрамова. Под невысокими соснами виднеется песчаный холмик с цветами и травой. Лесок этот расположен прямо посредине деревни. Рядом клуб, почта, дымит в двух шагах труба пекарни. На кладбище этом лежат многие герои Абрамова. И «первый

топор Верколы» Николай Минин, и «доктор Скот» — ветеринарный врач. И другие.

В рассказе «Могила на крутояре» есть такое авторское признание: «Помню деревенское кладбище в жарком сосняке... Помню мать, судорожно обхватившую песчаный холмик с зеленой щетинкой ячменя. Помню покосившийся деревянный столбик с позеленевшим медным распятием и тремя косыми крестами, которыми мой неграмотный отец обозначил свои земные дела и дороги.

И, однако, не эта, не отцовская могила видится мне, когда я оглядываюсь назад.

Та могила совсем другая.

Красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному:

«БЕЛОУСОВ АРХИП МАРТЫНОВИЧ,
Ты одна из жертв капитала!
Спи спокойно, наш друг и товарищ»

Фамилия партизана вымышлена, но это не имеет значения. Такие же могилы есть и на главной площади Верколы. Они как бы отделены от общих захоронений, выделены. Здесь во время праздников воздвигается деревянная трибуна и проходят взрослые и дети с флагами в руках.

И сразу за пирамидками со звездочками, под которыми покоятся красные партизаны, начинается обрыв к реке, верней, к заречным лугам, за которыми открывается сияющее на солнце лезвие Пинеги.

«Нам сияло свое солнце, — пишет в рассказе Абрамов, — красная могила, осененная приспущенными знаменами».

Его детство и юность были осенены этими знаменами. Его ухо слышало и «музыку революции», и му-

зыку отбиваемых кос на сенокосе, музыку русской печи, несущей семье тепло, и музыку машинки тетушки Ириньи. Его сердце ловило и тоскливые напевы песен, и мерное чтение стихов древней книги, и гром оркестров, и плач баб по убитым, по загубленным, по пропавшим.

«Огромное раненое сердце», — сказала о Федоре Абрамове Ксения Петровна Гемп, старожил Архангельска, женщина замечательного ума и неодолимой воли, к которой Абрамов относился, как сын.

Я познакомился с К. П. Гемп уже после смерти Абрамова. Мы встретились в больнице, где Ксения Петровна лежала со сломанной ногой. Лежала она в отдельной палате, куда то и дело наведывались посетители. Именно из-за посетителей и не удалось поговорить, но достаточно было и получаса, чтоб понять, какой редкий человеческий тип передо мной.

В свои девяносто с лишним лет Ксения Петровна выглядела на семьдесят. Несмотря на то, что ей пришлось говорить лежа, приподымаясь на подушках, она держалась так, как будто может сию минуту встать и пойти.

В ее выцветших — когда-то, наверное, пронзительно синих — глазах было столько жизни, столько желания жить и самой радости существования, что я поразился. Меня поразили простота, ясность и свобода ее суждений, ее память, доброжелательство и даже кокетство, которое шло ей, потому что ее лицо, бывшее когда-то лицом очень красивой женщины, не утратило своих черт.

«Это человек, который достоин, чтоб к ней просто ходили на поклон, паломничества совершались, — говорил о К. П. Гемп Абрамов. — ... Это человек невероятный, это живая история вообще всего Севера... Она —

ученый-биолог, она — гидролог, она — историк... Да, она филолог-бестужевка. Живая бестужевка!.. Я радуюсь, что такой человек живет в Архангельске и вообще на свете».

К Ксении Петровне Гемп Абрамов ходил чаще, чем в архив. Она сама была архив, история, живая летопись. Она застала конец старого века, она знала Георгия Седова и отсюда, с архангельской набережной, провожала его в последнее путешествие, она опускалась в водолазном скафандре на дно Белого моря, чтобы найти нужные для питания людей водоросли (эта ее работа понадобилась потом голодающему Ленинграду). Она объездила на лодке все побережье, жила у поморов, записывала их предания.

К. П. Гемп написала книгу «Сказ о Беломорье», составила каталог трав, целительные свойства которых до сих пор не изучены, восстановила по рассказам стариков словесный портрет протопопа Аввакума.

«У поморов слов много, но употребляют они их редко, — говорила она мне. — И их отбор так строг, так придирчив, что по словам, как по мазкам на холсте, можно составить представление о человеке, которого нет в живых, но которого молва помнит и запечатлела в языке». Словесный портрет Аввакума совпал с теми немногими изображениями опального протопопа, которые считаются близкими к оригиналу.

Такие люди, как К. П. Гемп, если покидали столицы и шли в народ, то оставались с ним навсегда. Культура и знания были нужны этой интеллигенции не для собственного потребления, а для раздачи другим, для того чтобы рассеять их не на каменьях и не в терниях.

На Север ссылали, но на Север приезжали и добровольно. Трудясь в архиве, Абрамов недаром так много читал о политических ссыльных. Ему хотелось

свести их в своем романе с такими людьми, как Гемп и Калинцев. Ему важно было устроить им очную ставку, услышать их «прения», как любил он говорить, имея в виду столкновение, спор, поединок разных точек зрения, чтобы диалоги эти объяснили читателю, «откуда все началось».

Он шел к истокам своей эпохи. «Хочу вопросить прошлое», — писал он о «Чистой книге».

Но путь к этой книге был еще далек.

* * *

Прежде, чем вопросить прошлое, надо было вопросить настоящее. А это было сделать нелегко. Настоящее в те годы, когда Абрамов взялся за перо, предпочитали изображать в розовых красках. Оно в книгах мало походило на то, каким было в жизни.

Первой литературной работой Абрамова была диссертация о «Поднятой целине» М. А. Шолохова. Были статьи и рецензии в газетах. Но голос Абрамова-писателя прорезался в те дни, когда литература, вдруг очнувшись ото сна, взглянула на действительность промытыми глазами.

В марте 1953 года умер Сталин. А в апреле 1954 года в журнале «Новый мир» появилась статья Федора Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе».

Тому, кто сегодня прочтет эту статью, она покажется не такой уж смелой. Более того — отчасти даже и догматической. Но по тем временам это был взрыв, который породил сотрясение в критике и литературной жизни. Абрамов почти всю послевоенную прозу о деревне списал в обоз.

Он взял для разбора книги, увенчанные лаврами, расхваленные и возвеличенные критикой, — уже одно

это было величайшей дерзостью. Все их авторы были лауреатами Сталинской премии.

Книги, причисленные самим Сталиным к «золотому фонду», никто не решался трогать.

Автор статьи высказался об этой литературе коротко: «Салтыков-Щедрин определял такие сцены одним словом: «балет!»

Послевоенной деревне не повезло в поэзии и прозе. Если о войне во время войны и после нее была сказана какая-то правда, то деревня этой толики правды не удостоилась. Ее беды и горе, голод и раны, которые открылись тем, кто вернулся с войны, оставались невоспетыми. Может быть, только рассказ Андрея Платонова «Возвращение», опубликованный в 1947 году и тут же подвергшийся разносу, был исключением.

Воспевалось другое — высокие урожаи, победы на хлебном фронте, пенье и пляски кубанских казаков, кавалеры золотых звезд, поднимающие колхозы до невиданного уровня. И, как сказал в своей статье Ф. Абрамов, «переход... от неполного благополучия к полному процветанию».

В статье приводятся слова критика А. Макарова: «Произносится мысленно слово «деревня», и перед вами возникают тракторы... линии столбов с телефонными и электрическими проводами, бескрайние поля; проходят чередой люди, лица которых светятся сознанием собственного достоинства, а на груди у некоторых поблескивают звезды Героя Социалистического Труда, как бы вобравшие в себя живое золото созревших хлебов».

Другой критик, Е. Дорош, винил автора романа «Марья» Г. Медынского в том, что тот назвал свою героиню этим простонародным именем. Это как бы снижало в его глазах портрет советской крестьянки.

Получалось, что «из-за того, что женщину зовут Марья, произведение стало неправдивым».

Критика поднимала роман С. Бабаевского «Кавалер Золотой звезды». Абрамов писал, что герои Бабаевского почему-то все «писаные красавицы и красавцы» да вдобавок еще и кудрявые. В романе царствовало «кудрявое однообразие».

Столь же сурово были оценены и «Заря» Ю. Лаптева, «От всего сердца» Е. Мальцева, «Жатва» Г. Николаевой. Слишком много было в этих книгах «прекраснодушных вымыслов», слишком мало реализма. Абрамов ничего сверхъестественного от литературы не требовал. Он требовал только правды — «правды — и нелицеприятной правды».

При этом он сам шел на какие-то компромиссы, соглашения с полуправдой. Он охотно цитировал Сталина и Маленкова, которые уживались на страницах его статьи с Салтыковым-Щедриным. Он и сам в этой статье был сын своего времени — времени, в котором старое и новое еще противостояли друг другу, еще противоборствовали.

По книжке «Нового мира» со статьей Ф. Абрамова был открыт огонь. Имя неизвестного ранее критика было внесено в проскрипционные списки. Там, где упоминались новые «негативные» тенденции, упоминался и Ф. Абрамов. «Нужно знать жизнь, — наставляла его «Литературная газета» в номере от 6 июля 1954 года, — а критик ее не знает». И еще она задавала вопрос: «Почему тогда колхозная молодежь читает и перечитывает «Кавалера Золотой звезды»?»

На нашем курсе, где я учился (а это был пятый курс истфилфака Казанского университета), было много ребят из деревни. И никто из них не читал Бабаевского, все читали Абрамова. «Новый мир» пере-

давался из рук в руки. Абрамов был не единственным, кто заставлял нас читать этот журнал. Но он был одним из тех, кто начинал новую эру в литературе.

Никто не знал, что критик Абрамов, доцент Абрамов, преподаватель университета Абрамов пишет роман. Но он уже работал над ним. «Художественность неотделима от реализма», — писал он в своей статье. Теперь эту истину предстояло доказать на деле.

II. Братья и сестры

«Не написать «Братья и сестры» я просто не мог. Я знал деревню военных лет и литературу о ней, в которой немало было розовой водицы... Мне захотелось поспорить с авторами тех произведений, высказать свою точку зрения. Но главное, конечно, было в другом. Перед глазами стояли картины живой, реальной действительности, они давили на память, требовали слова о себе. Великий подвиг русской бабы, открывшей в 1941 году второй фронт, фронт, быть может, не менее тяжелый, чем фронт русского мужика, — как я мог забыть об этом!»

Так объяснял Абрамов появление своего романа. Он был напечатан в 1958 году в журнале «Нева» и дал название тетралогии, которая сначала называлась «Пряслины», а потом все-таки получила имя его первой книги.

Это справедливо. В «Братьях и сестрах» дана запевка, взята интонация, которая стала интонацией всей прозы Абрамова. Я люблю эту книгу. В ней молодость пера спорит с молодостью чувств. Это чистая книга. И это правдивая книга.

Перечитывая ее, я ловил себя на мысли, что многие абрамовские герои уже умерли. Анфисе Мининой было бы сейчас 78 лет, Марфе Репишной — 92, другим не меньше. Это поколение сошло со сцены. Редкие

сосны из этого бора уцелели, еще стоят. Но и их век недолог.

Они ушли, спев свою песню, тяжкую песню долга, но такую красивую, такую завидную! Кажется, завидовать нечему, чему тут завидовать: всю жизнь мечтали наесться досыта, всю жизнь ломили то на войну, то на послевоенную разруху. Не знали отдыха. Теряли красоту в тридцать лет. Блекли под неярким северным солнышком. В тридцать лет или вдовы, или девки. И все-таки прекрасную жизнь прожили, высокую.

Я вспоминаю спектакль «Братья и сестры» в Ленинградском Малом драматическом театре. Ничего нет на сцене, одна стена избы поднята к потолку на цепях. Она и крыша, и ток, и мост через речку, и укрытие для влюбленных. И на этой стене, как на экране, вдруг вспыхивают кадры фильма «Кубанские казаки». Льется зерно, поют, разгребая его, загорелые женщины. Вьются по ветру белые платки. Смех, музыка, гомон. Но гаснет свет, выключается киноаппарат, и перед зрителем стоит толпа баб и ребятишек. Совсем другие лица. В темных платках по самые брови, в стоптанных сапогах, в телогрейках. Не то старухи, не то молодки. Все на одно лицо. И горе горькое в глазах и, прежде всего, голод.

Абрамовский второй фронт стоял насмерть, но стоял иногда и до смерти. Потому что хлеб настоящий выдавали только в лесу, а в колхозе его не было — не было всю войну, долго не было и после войны.

Марфу Репишную в 20-м годе за коробку соли просватали — не было в Пекашине и соли. Пошла замуж за того, кто эту коробку в дом принес.

А Анна Пряслина? С колхозного поля унесла в мешке зерно — всего килограмм-два — хотя никогда ни в какой краже не была замечена, всю жизнь про-

жила, как перед богом. А почему? А потому что пятеро — мал мала меньше — осталось у нее на руках, и каждый кричит: «Исть хочу!» Как их накормишь?

«Бабье царство» в романе показано с огромной жалостью, с сыновней лаской. Мать Абрамова тоже чуть не померла в войну от голода. Лежала без движения, и нечем иногда было накормить ее.

Федор Абрамов писал свой роман семь лет. Стало быть, начал он писать его еще в то время, когда «Кубанские казаки» и «Кавалер Золотой звезды» были вывеской деревенской жизни.

На этой вывеске-картинке все было хорошо. Временные трудности быстро преодолевались, амбары ломились от хлеба, а довольное начальство то журило отстающих, то поощряло передовых. Отстающие, впрочем, вскоре перековывались в передовиков.

Совсем другую картину застает в колхозе «Новый путь» абрамовский Лукашин. Его посылают уполномоченным в отстающий колхоз.

До этого колхозом руководил какой-то кавалерист (очень смешно описанный Абрамовым), при Лукашине председателем становится Анфиса Минина. Ее выбирают стихийно — без ведома райкома, выбирают потому, что кавалерист завалил все дело.

Роман начинается в дни затяжной северной весны, которая не оставляет людям, кажется, никаких надежд. «Холодное, белесое, точно вылуженное небо, — пишет Абрамов, — не предвещало тепла. Ни единой травинки не зеленело под этим небом. И она (Анфиса. — *И. З.*) знала, что сегодня ночью, как вчера и позавчера, поднятая ревом голодной скотины, она опять будет выбегать на улицу и с напрасной надеждой вглядываться в огород. В белом омуте наступающих белых ночей она увидит все ту же голую, мертвую землю».

Сухое отчаянье, смешанное со слезами, мучит героев «Братьев и сестер». А тут еще похоронки. Приходят одна за другой. Убили сына Степана Андреяновича. Убили совесть и мечту старика. Он для сына готовил расписные сани, для сына берег дом, для сына и жил. И хотя поссорились они перед войной и ударил старик своего первенца (не сошлись взглядами на колхозную жизнь), ждал он его возвращения, как манны небесной.

Убивают и мужа Варвары Иняхиной, и Ваню-силу — Ивана Пряслина, отца Мишки, Лизки и трех малышей. То на одном конце деревни, то на другом всплескивается женский плач. А утром бригадир стучит в окно, зовет на работу. Свои сорок соток в день надо отпахать. Да на чем? Не только на быках и на лошадях. Но и на себе.

Роман Абрамова, как ни горек он, полон нежности к людям. Всех жалко автору, и он всех готов одарить — кого минутным воспоминанием о молодости, о здоровье (как Степана Андреяновича), кого счастливым упоеньем в труде (Марфа Репишная), а кого и летучей, как короткое северное лето, любовью (Анфиса и Лукашин).

В белую летнюю ночь завязывается эта любовь. В ночь, когда стоит, не шелохнувшись, осыпая лепестки, черемуха, когда слышно, как падает капля с ведра у колодца, гулким стуком отзывается на это чувство Анфисы сердце Лукашина.

В пейзажах Абрамова, в его постоянных обращениях к природе, к ее жизни, как бы сопутствующей и сочувствующей жизни людей, видно влияние Шолохова. Оно видно и в женских характерах — в Анфисе, в Варваре и в подрастающем Мишке Пряслине, которому в этом романе еще четырнадцать лет.

Семья Пряслиных отделена от общего пекашинского семейства, хотя именно ей предстоит стать центром абрамовской тетралогии и связать ее нити.

Семья Вани-силы и есть сила деревни, сила народа, которой война нанесла страшный урон. Война выкосила мужиков. Война и детей покосила. «Война Михаила-то съела», — скажет в романе «Две зимы и три лета» Лизка Пряслина. И Михаил ответит ей: «Да ведь и тебя, если на то пошло, война съела».

Война съела их детство. Они сразу стали взрослыми. Михаил за всех мужиков в деревне, а Лизка, чуть подросши, сменила брата «у пня». Сначала Михаил привозил из лесу обновку и хлеб, потом хлеб и сахар стала привозить Лизка.

Когда пришла похоронка на отца, Мишка сел на его место за столом. Он надел рубаху отца и его сапоги. И мать покорилась Мишкиному первенству в семье.

Абрамов говорил, что он никогда бы не написал Пряслиных, если б сам не вырос в многодетной семье, если б не знал безотцовщины. Мишка и Лизка по годам — его младшие брат и сестра, но он дал Мишке имя своего старшего брата.

Потому что так же добр Мишка, так же безотказен. Кому топор насадить — Мишка, крышу наладить, колодец подправить — Мишка. Косу отбить, огород вспахать — опять Мишка. А уж про поле и пожни говорить нечего. В День Победы (сцена эта описана в романе «Две зимы и три лета») Анфиса Минина от имени всех баб и всего колхоза кланяется в пояс Мишке.

В «Братьях и сестрах» много героев, есть даже секретарь райкома — впрочем, непременная фигура прозы тех лет. Это Новожилов, который, пожалуй, запоминается только тем, что произносит одну фра-

зу — о «братьях и сестрах». Это — цитата из речи Сталина 3 июля 1941 года. Она и дает название роману.

Широкая, костистая — больше похожая на мужика, чем на женщину, — Марфа Репишная, зазывно красивая Варвара, добрый Митенька Малышня, старик семидесяти лет, нянька всем взрослым и деткам в Пекашине, Трофим Лобанов, Софрон Игнатьевич, прямой и сильный, как лиственница, старик Ставров, колхозный демагог и «мичуринец» Федор Капитонович, старуха Макаровна, зеленоглазая Лизка, Анна-куколка, ее мать, и подлесок детей и детишек — вот мир Абрамова, его малый космос.

Это мир еще не расколовшийся, еще целый. И хотя наделала в нем прорех война, он полнокровен, единокровен. Все пекашинцы впряжены в один воз, в одну упряжку. Они связаны связями, завещанными им отцами.

Это связь и родство по земле, по отношению к крестьянскому труду. Как ни тяжек труд, он в охотку. Как ни выматываются они, — выматываются ради правого дела. Война, кажется, отобрав у них все, все им и дала. Она дала цель, идею. Эта идея — отстоять дом, спасти дом.

Ставровский дом, как и дом Пряслиных, выдвигается в романе, как и во всем Пекашине, на первый план. От того, как пойдут дела в этих домах, зависит судьба деревни. От того, насколько крепко они стоят, можно отсчитывать и крепость Пекашина.

В «Братьях и сестрах» мелькает слово «русь», которым на Севере называют место возле дома. Дальние земли — это суземы, навины, а «русь» у северного человека — то, что примыкает к дому, окружает дом. «Русь», собственно, и есть дом в прямом смысле.

В этом названии и любовь к дому, и теплота дома, и долгая работа языка по отысканию имени для дорогого места. «Русь» в романе — это и дом, жилище, и Россия конечно.

Абрамов как будто пишет хронику Пекашина, но замахивается он на большее. В прологе к роману, описывая стол возле сенной избы на дальних покосах, он рассказывает об отметинах, которые оставили на столе ножом мужики. Каждый врезал в дерево свои инициалы. И только одних инициалов нет — женских.

Этот прочерк в летописи деревни и хочет восполнить Абрамов. С «Братьев и сестер» начинается женская «Россияда» Абрамова.

Это и история «бабьего царства», которое правило на Пинеге во время войны, и история баб, потерявших кормильцев, мужей, сыновей и удержавших на своих слабых женских плечах тыл фронта. В этом тылу собирали по зернышку хлеб и отдавали его войне, растили детишек — сами не ели, а спасали Россию и ее цвет, побитый голодом и холодом. Бабы не только валили лес, таскали на себе плуги и бороны, берегли от падежа скотину и остывшие пустые избы, — они прикрыли собой семью, род и нацию.

Позже Федор Абрамов скажет, что русская баба как никто заслужила, чтоб ей был поставлен памятник — огромный памятник, который был бы виден со всех концов России и который одновременно был бы монументом в честь матери, сестры и жены.

Такого памятника еще нет. Но в литературе Абрамов его поставил. И в «Братьях и сестрах» он положил в основание этого памятника первый камень.

* * *

Роман «Братья и сестры» вышел в 1958 году и был без оговорок принят критикой. Бывший «очернитель», каким считался после статьи в «Новом мире» Федор Абрамов, стал вполне благопристойным прозаиком. Правда его книги слилась с общею правдой, которую несла тогда в жизнь литература.

Но этой правды и времени и литературе было уже мало.

Общество жаждало выхода лицом к лицу с вопросами, которые десятилетия не ставились литературой. Оно хотело выяснить свои отношения с двадцатыми, тридцатыми, сороковыми годами. А пока литература готовилась к этому, вперед вырвался очерк. Он, как сапер, прошел по минным полям, разминируя подступы к ближней правде.

Абрамов не мог не оказаться среди тех, кто взялся за эту опасную работу. По ходу дела вслед за романом о военной деревне должен был явиться роман о годах, которые он назвал «послевоенным лихолетьем». Все подталкивало его к завершению историй, завязавшихся в «Братьях и сестрах». Но Абрамов отставил в сторону роман и написал очерк «Вокруг да около».

Вспомним окончание «Братьев и сестер». Лукашин уезжает на фронт. Анфиса по ночной дороге мчится на лошади, чтоб догнать Лукашина и сказать ему последние слова любви. Она не простилась с ним, она не могла ему простить «измены» с Варварой. Измены никакой не было — и сейчас, горько переживая свое заблуждение, свою слепоту, гонит Анфиса коня, чтобы поспеть, не опоздать.

Перед читателем открывается дорога из Пекашина в район — дорога расставаний. По ней ушли из дерев-

ни на фронт мужики. По этой дороге в конце романа отправится в непогоду в район Анна-куколка, чтоб получить известие об убитом муже. Но никаких новостей она не принесет в дом. Только бумагу о пенсии.

Еще многие уйдут по этой дороге в следующих романах Абрамова. Уйдут в город, на «великие стройки». Обмелеет послевоенное Пекашино.

Как бы предчувствуя этот всеобщий исход, Федор Абрамов становится в своем очерке поперек дороги-разлучницы. Он хочет задержать людей в деревне, не дать им уйти.

Дата рождения «Вокруг да около» — 1963 год. Минуло девять лет после публикации статьи в «Новом мире». Надежды, которые подавала эпоха, породившая статью Абрамова, начинали угасать. Торфоперегнойные горшочки не спасли деревню. Кукуруза, выращенная от Кавказских гор до северных лесов, не принесла изобилия.

Надо было искать выход из положения.

Позже Абрамов назвал «Вокруг да около» повестью. Но по форме и жанру это чистый очерк. Недаром земляки автора узнали в его героях себя, а в колхозе «Новая жизнь» — свой колхоз.

Очерк был неопровержимо *конкретен* — и это увеличивало его вес. Был взят один день из жизни председателя колхоза. Но в этот день вместилась вся история деревни Богатка.

Ананий Егорович — тринадцатый после войны председатель в Богатке. Остальные правили недолго и уходили бесследно. Но и он ничего не в состоянии сделать — он связан по рукам и ногам распоряжениями района. В то время, когда на дворе середина августа и льют дожди, а под дождем гниет сено, ему велят заготавливать силос. Погожих дней, может быть, во-

обще больше не будет, — это неважно. Важно дать план по силосу. Важно отчитаться перед областью.

И вот ради этого плана должен председатель делать то, что никогда не сделает в эту пору крестьянин. Он должен пойти против здравого смысла, против земли, против природы, наконец. Идиотизм его положения ясен, но инструкции и угрозы из района страшат.

Что делать? Этот вопрос вместе со своим героем задает Федор Абрамов. И задает не одному колхозу.

«Прямо какой-то заколдованный круг! Чтобы сделать полновесным трудодень, надо, чтоб работали люди... А чтоб работали люди, надо, чтоб был полновесный трудодень».

А люди работать не хотят. Люди устали от обещаний, от посулов. Да и за что работать? Тридцать копеек на трудодень — разве это плата? Народ в деревне топит бани, подается в лес по грибы, возится в своем огороде. Огород хоть и невелик, но *свой*. А если, как Петуня-бульдозер, еще парники поставить, всякую овощь пустить по земле, то, сверх этого, и доход — в двух шагах от Богатки леспромхоз, там купят. В леспромхозе платят деньги, в районе даже самые маленькие чиновники получают твердую зарплату. И получается так, что мужики уходят из Богатки — кто сам поступает на производство, а кто «женится на буханке», то есть берет жену с производства. И колхоз ему ни к чему.

А старухи, что ломили во время войны и держали «второй фронт», выдохлись. Они покалечены, больны. И никто о них не заботится. Им даже не платят пенсии, ибо пенсия колхозникам не положена.

Как не положен и паспорт. В городах все с паспортом, а колхознику, чтоб в город поехать, надо брать у председателя справку. Да и то по той справке его

личность в учреждениях не признают. Говорят, это не удостоверение личности. «Я, как баран колхозный, без паспорта», — говорит Ананию Егоровичу бригадир плотников Вороницын. Жалуется он председателю, а у самого пьяные слезы текут. Потому что этот кремневый мужик, который и работать горазд и в войну под расстрелом у немцев стоял, не может смириться с несправедливостью.

И уходит Ананий Егорович из его дома ни с чем.

К кому он ни завернет во двор, к кому ни обратится с просьбой помочь колхозу на сене — всюду отказ. Один хвор (откуда-то «вирусный грипп» занесся), другой от старости немощен, третий лучок выращивает на продажу, а еще кто-то — как зареченский бригадир Клавдия Нехорошкова — перебрал по случаю субботы.

И как эту Клавдию винить? Вытянулась, выросла, когда мужиков не было в деревне. А после войны «почала... по вечерам... походы в деревню делать — авось и ей перепадет какая-нибудь кроха бабьего счастья, а чтоб не так страшно было, залей глаза вином». Теперь она в Богатке «первая работница и первая распутница».

У старушки Авдотьи Моисеевны «сын пропал за слова». Сама работать не может, а пособие от колхоза какое? Десять килограммов зерна на месяц и четыре воза дров на зиму.

Серафим Яковлев, председатель химартели, член партии с 1929 года, тоже Ананию Егоровичу отказывает. Ты, говорит, сначала моему сыну справку выпиши, а потом выйду на воскресник.

Под конец заходит Ананий Егорович к Петунебульдозеру. А старик Петуня в своей усадьбе, как в крепости. И пуще, чем стены, бережет его «луковая плантация». С нее и доход, от нее и независимость. Председатель Петуне про совесть (дескать, нельзя же

не подсобить колхозу), а тот ему в ответ притчу:

— Тут в одном колхозе старик со старухой живут. Одни, бездетные. Ну и случись со стариком авария — заболел, значит. Старуха, известное дело, в слезы: «Как жить будем? В доме ни копейки». — «Ничего, — говорит старик, — проживем. Денег у нас нету, да зато совести много. Сколько,— говорит, — мы с тобой этой совести-то за двадцать лет заработали? Пойди, говорит, нагреби мешок в амбаре да ступай в магазин...»

— Может, отложим сказку? — перебил Ананий Егорович...

— Нет, уж дослушай, — сказал Петуня. — Сказка невыдуманная... Ну, взвалила старуха мешок с совестью на спину, пошла в магазин. А через час возвращается. Плачет. «Не берут, говорит, нашу совесть. Деньги требуют». — «Тогда, — говорит старик, — иди в колхоз. Там совесть выдавали. Там и отоварят». И там не отоварили...»

«Сказка» страшная, а крыть нечем.

Так и прочесывает без прока Ананий Егорович всю деревню. Ни один человек не выходит на сено. А в собственном доме жена сидит, злится — зачем завез в эту глушь? Жили бы себе в районе, горя б не ведали: до Богатки Ананий Егорович заместителем предрика работал.

В минуту отчаяния вспоминает он молодость, свои двадцать три года, краснозвездный шлем. Они тогда вдвоем с одним малограмотным красным партизаном в два дня деревню перевернули.

Но сейчас не те времена. Сейчас «без рубля... агитация не доходит».

Вот тогда-то и озаряет его ум мысль о «тридцати процентах». Тридцать процентов от убранного сена он решает отдать колхозникам. Эта мысль является ему

в чайной, куда он зашел, чтоб хоть как-то подбодрить себя.

Идея дерзкая, еретическая, но хмель освобождает Анания Егоровича от страха. И он выкладывает ее мужикам.

А наутро, проснувшись, не узнает деревни. Все в поле, все на сене. Что случилось? Что подняло народ?

30 процентов.

С вилами, с граблями высыпают на луг бабы и мужики. «Белые платки — ромашек столько не найдешь, — разномастные головы мужиков и парней, ребятишки, как жеребята, носятся по зеленой отаве убранной пожни». Машина за машиной наполняются сеном. «Из кабины подъехавшей машины выскочил Васька Уледев — рожа в испарине, белозубый рот до ушей:

— Ну и дела, председатель! Осатанел народ! Меня бабешки из постели выволокли. Вот что значит тридцать процентов!»

Ананий Егорович нарушил районную установку. Во-первых, перевел колхозников с силоса на сено, во-вторых, своевольно распорядился колхозным сеном. И он уже слышит слова, которые ему скажут в райкоме: «Развязал частнособственническую стихию...»

Очерк кончается тем, что Ананий Егорович идет давать ответ за свое самоуправство. Он движется по направлению к дому, где живет секретарь парткома колхоза и где остановился только что приехавший хозяин района.

«И чем ближе подходил он к дому, — пишет Абрамов, — тем все меньше оставалось у него мужества. Проклятый безотчетный страх, старые сомнения в своей правоте, тревога за свое будущее, за будущее семьи — все это удушьем навалилось на него».

Сказав себе за минуту до этого: «Так будь же мужествен! Хоть раз. Хоть один раз на пятьдесят пятом году!» — Ананий Егорович вдруг теряет мужество.

Дело не только в этих тридцати процентах, которые сами по себе выглядят вызывающе, дело в том, что надо быть мужественным «хоть раз». Если каждый возьмет на себя ответственность, примет решение, которое он (и только он!) считает в данный момент правильным, полезным для дела, — тогда что-то и переменится. Тогда, может быть, и воз можно будет столкнуть с места.

Что лучше — сгноить все сено, чтоб оно никому не досталось — ни колхозу, ни колхозникам, — или все же получить 70 процентов, а остальное раздать людям? Здравый смысл, логика, правда говорят: лучше поступить так, как поступил абрамовский председатель.

Все, что ожидал услышать от начальства Ананий Егорович, услышал от критики Федор Абрамов. Очерк «Вокруг да около» был признан идейно порочным, а редактор журнала, напечатавший его, снят с работы. В районной газете «Пинежская правда» появилось открытое письмо жителей Верколы Абрамову, которое называлось «Куда зовешь нас, земляк?». Оно было перепечатано в «Правде Севера» и в «Известиях». История с очерком приняла недобрый оборот.

К этой истории мы еще вернемся, а сейчас засечем то мгновенье в очерке, когда Ананий Егорович все же решился идти до конца. По пути к дому секретаря парткома его нагнали мужики. Ну что, председатель, спросили они его, ехать ли на дальние сенá или нет. Отправить их туда — значило окончательно оборвать все пути к отступлению, значило сказать своему страху: нет.

И Ананий Егорович ответил: езжайте. Он победил свой страх.

«В заулке у Исакова (фамилия секретаря парткома. — *И. З.*) залаял пес. С голубого крылечка, залитого солнцем, спускались секретарь райкома и Исаков.

Ананий Егорович выпрямился и, твердо ступая по песчаной земле, пошел им навстречу».

Так навстречу беспощадной правде со всеми вытекающими из нее последствиями сделал в «Вокруг да около» шаг и Абрамов.

* * *

Две стихии сливаются в романе «Две зимы и три лета» (1968): стихия лирическая, эпическая, стихия «Братьев и сестер», и стихия документальная, очерковая, публицистическая — стихия «Вокруг да около». Отныне эти две стихии как бы сольются в прозе Абрамова. Он свободно станет переходить от живописания к очерку и обратно, и в самом живописании будет виден гражданин Абрамов, государственник Абрамов, воитель Абрамов.

Роман «Две зимы и три лета» — роман истовый, страстный. И вместе с тем, это очень грустный лирический роман. Любовь в нем братается с бедой, надежды со смертью, а раздоры и споры с попытками примирения.

Послевоенное Пекашино мучают и война, которая все еще открытая рана, и засуха, и послевоенная голодуха. Его терзают налоги, займы и пустой трудодень.

Возвращается с войны Лукашин. Он становится председателем колхоза. Но колхоз по-прежнему тонет в бедности. Кроме хлеба и молока он еще должен давать лес. Всю лучшую рабочую силу отдают на лесозаготовки. Лес нужен стране, страна строится. Ося-агент

ходит по деревне и собирает с несуществующих хозяйств налог. Те, у кого нет коров, должны платить налог по мясу, те, у кого нет кур — по 30 штук яиц. А пол-Пекашина без коров, и «во всей деревне две куры да петух».

Абрамов приводит полный текст «Обязательства на поставку государству в 1946 году мяса, молока, брынзы-сырца, яиц и кожевенного сырья», которое читает Илья Нетесов. Даже брынза в этом обязательстве значится, хотя никто никогда в Пекашине про брынзу не слыхал.

Документ резко разнится с тем, что пекашинцы имеют на деле. Но попробуй не сдай того, что в нем указано — опишут все имущество. А то и попадешь под суд.

Суд грозит и тому, кто не выйдет на лесозаготовки. Это, считай, трудовой фронт. А кто бросает фронт, тот дезертир.

Так называют Тимофея Лобанова, который, вместо того чтобы отправиться в лес, идет в район. У него рак, он еле стоит на ногах, ему надо в больницу. И Мишка Пряслин, оставшийся за председателя, пишет на него бумагу, что Тимофей дезертировал с лесного фронта.

Потом Мишка раскается и поставит на могиле Тимофея Лобанова столб со звездой.

Егорша Ставров осудит его за это. Какая звезда на могиле человека, который побывал в плену? Ведь плен — это позор, измена, это слабость духа. Но правильно скажет по этому поводу фронтовик Илья Нетесов: «Война без плена не бывает».

Плен — одна из тяжких мет войны. В те годы, о которых идет речь (а Федор Абрамов описывает 1945 — 1947 годы), отношение к тем, кто побывал в плену, было суровым. Многие возвращались домой из плена через

Сибирь и встречали косые взгляды и попрек на каждом шагу.

Можно понять Мишку: у него на фронте погиб отец. А Тимофей Лобанов остался жить. В глазах Мишки он виноват — и виноват непоправимо. Не от злого сердца, а от полудетского неопытного чувства пишет Мишка донос на Тимофея в район.

Война возвращает деревне «уполовиненных», как Петр Житов, мужиков, но не может вернуть мира в души. Даже День Победы, пришедший на пекашинскую землю, поднявший со дна сердец всю заждавшуюся радость, не стал днем полного счастья и освобождения от войны. «Пришел праздник, — пишет Абрамов, — и деревню едва не утопили в слезах».

Описание празднования Дня Победы — одно из самых сильных мест в романе.

Тут и песни, и смех, и слезы, и завыванье вдов, и парад вдов, который принимает единственно целый из вернувшихся с войны Илья Нетесов. «Постарели, повысохли, бедные, — думает он о женщинах, вышедших его встречать к сельсовету, — беззубые рты опали, и такой виноватый, заискивающий взгляд, словно они извинялись перед ним. Извинялись за свой вид, за то, что сделала с ними война».

Да и девки в Пекашине от войны, как «червливые грибы», да и весна у Абрамова — «отощавшая баба».

Впервые за всю войну едят пекашинцы мясо. Но для того, чтобы добыть его, пришлось пойти на преступление. Пришлось загнать колхозную корову в яму, чтоб потом списать ее из-за «несчастного случая».

Пир, пляски, частушки кончаются жуткой попойкой и всеобщим плачем. В этот-то день и завязывается горькая любовь Мишки и Варвары — тоже любовь войны, потому что Мишке семнадцать лет, а Варваре тридцать. Любовь эта грозит разрушить пряслинскую семью,

нарушить пряслинский дом. И против нее восстает не только семья Мишки, но и вся деревня.

«Раньше, еще полгода назад, — пишет Абрамов, — все было просто. Война. Вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расползается. Каждый палец кричит: жить хочу! По-своему, наособицу».

Первым уходит из Пекашина Егорша. Их с Мишкой пути — ранее шедшие бок о бок, — начинают расходиться. Егорша, как он говорит, хочет дать поворот на сто восемьдесят градусов и «добить серп с молотом» — то есть получить паспорт. Он уходит сначала на сплав (где хорошо платят), затем устраивается шофером у секретаря райкома Подрезова, а потом и вовсе исчезает с Пинежья.

Не только Мишка Пряслин, но, по существу, и все Пекашино оказывается перед выбором: пойти по дороге Егорши или остаться. Для Егорши Мишка, который решил остаться, «пенек пекашинский», «навозник». Но ведь кто-то, как говорит Мишка, «должен ковыряться в земле».

Спор Егорши и Мишки охватывает весь роман. Потому что не в одночасье решается Егорша покинуть ставровский дом. Идет борьба и в его сердце. Есть и у Егорши сердце, есть у него и руки, умеющие делать всякую крестьянскую работу, есть и голова. Он умен, он просто талантлив, и ум и талант не дают ему смириться со своим положением.

А чем мы хуже людей? — спрашивает он себя. — Почему в городе люди живут, а мы не живем? Почему им дано, а нам не дано? Обида и гордость выталкивают его из дома.

Он и злится на пекашинцев — за то, что все терпят, — и жалеет их. Он как бы представительствует за них на всех этих «великих стройках». Всюду, где он появляется, вместе с ним является и гордость пекашин-

ская: не только вам ГЭСы возводить и реки перегораживать, но и нам.

Егорша у Абрамова не просто летун и оторвавшийся от дерева лист. Он быстрым умом ухватил правду, которая не дается тяжелому на размышления Мишке. А правда эта состоит в том, что слова могут расходиться с делами, и за слова платят больше, чем за дела.

Поэтому он берет на вооружение лексикон демагогии и газетных штампов. «Мы, брат, так, — говорит он: — пьем, гулям, а линию знам».

Егорша игрок, притом игрок-одиночка. Он не хочет оставаться в дураках, а кто не играет, тот, по его мнению, дурак.

Егорша смекает, что вся эта потеха со словами и делами будет продолжаться долго. И что этого «долго» хватит на его век. А дальше своего века он не заглядывает. Егоршин ум хоть и быстр, но короток. И именно поэтому Егорша проигрывает.

Спасаясь в одиночку, он спасает — на мгновенье — только себя. Где бы он за Пекашино ни пил, ни гулял — Пекашину от этого лучше не делается. Лучше делается только ему, Егорше. И то на минуту, на час.

Из таких парней, как Егорша Ставров, получались всякие разновидности. Одни уходили в гульбу и спивались, другие, наоборот, надевали галстук, делали на голове пробор и садились за столы, покрытые зеленым сукном. Становились чиновниками, бюрократами. Они научились сильно сгибать спину, чего бы никогда не сделал Егорша Ставров.

Эти гении защиты и нападения, гении хрустально-платинового уюта, в который их возвела обида за то, что они когда-то ничего не имели, руки бы не подали Егорше.

Потому что он ничего не нажил. Потому что даже

свой золотой чуб — гордость Пекашина — пустил в распыл. Потому что в конце жизни вернулся к родному дому с повинной.

* * *

Третейским судьей в споре Мишки Пряслина и Егорши становится Евсей Мошкин. Фамилия у него незаметная, как бы намекающая на ничтожность его положения в обществе, но Евсей Мошкин святой человек. Он встает между Мишкой и Егоршей и, разнимая их, ссылается на свой пример, который не озлобил его, не взрастил в нем ненависти.

В романе «Две зимы и три лета» Федор Абрамов касается тех сторон жизни, которых не касался в предыдущем романе. В его повествование вливаются судьбы, которые меняют фарватер романа, заставляя его расширяться, забирая в себя даже малые ручьи и воды, втекающие в реку.

Река эта, разливаясь, доплескивает и до далеких двадцатых годов, когда на той стороне Пинеги, напротив Пекашина, создавалась коммуна, или коммуния, как называют ее мужики.

Создавали ее, между прочим, отец и сын Лобановы, а Тимофей Лобанов был чуть ли не главный зачинщик. Коммуния та просуществовала недолго. Она развалилась оттого, что люди не знали, что делать. С утра до вечера они смолили махорку и говорили речи. А в результате получилось, что ехали в коммуну с гармошкой, всем обозом с живностью и двумя возами с хлебом, а возвращаться пришлось на детских санках.

Кто-то агитировал за коммуну, кто-то исчез из деревни навсегда, а кто-то, как Евсей Мошкин, возвращался. Вернулся он, правда, после войны. В тридцатые годы сослали, он жил на поселении, но по окон-

чании срока, потеряв на фронте двух сыновей, получил разрешение жить в Пекашине.

Вернулся и муж Марфы Репишной с трудфронта. По всем дорогам, давя в себе голодную слюну, нес он жене, как подарок, кучку слипшихся дешевых леденцов — чтоб попила она чая со сладким — и донес. Только жизни уже донести не мог — обовшивел, обескровел, и унесла его с этого света болезнь.

Беды и страсти раздирают Пекашино. Но «всем мукам мука» — лес. «Война кончилась, но лесной фронт остался». Мало того, что люди должны вырастить и собрать урожай и сдать план на 215 процентов (этот план забирает у них остатки хлеба), они обязаны, как один, всю зиму выстоять у пня. В лес гонят всех — начиная с детей и кончая инвалидами. В лес уходит Лизка. В лес, отрывая его от кузни, посылают Илью Нетесова.

Лукашин, спасая кузню, возвращает Нетесова в деревню и заменяет его в лесу сам.

Лукашин, который хочет как-то помочь пекашинцам — а они избирают его своим председателем, — наталкивается в романе на волю секретаря райкома Подрезова, для которого в любой ситуации нет слова «нет», а есть только одно слово «да».

Подрезов это уже не Новожилов, это *хозяин района*. Он и чувствует себя хозяином и ведет себя, как хозяин. Подражая высшему «хозяину», он носит шинель до пят и фуражку. Он во всем сохраняет военный стиль.

Сила Подрезова — в давлении. По части давления и подавления он большой мастер. «Мы солдаты, а не думальщики», — говорит он Лукашину, когда они остаются вдвоем. Даже наедине с человеком, самым близким ему в районе, он боится быть откровенным. Лукашин пытается завязать с ним диспут, пользуясь тем,

что их никто не может слышать, заводит разговор о том, что неплохо было бы лошаденку овсецом прикормить, имея в виду колхозников, — Подрезов на этот разговор не откликается. Оглядываясь на стоящие в тишине ели, он затаптывает сапогом разгоревшийся было костер и так же затаптывает откровенность в Лукашине.

Ему кажется, что и ели могут передать кому-то их диалог.

Лукашин предлагает ему подумать — тот думать не хочет. Он понимает, что если начнет думать, он не сможет безоговорочно повелевать.

И не одна жажда власти толкает его на это, хотя Подрезов честолюбив. Над Подрезовым есть другой Подрезов, а над тем третий. И каждый требует безоговорочно, чтоб лес и хлеб были *любой ценой*. Поэтому, когда народ не хочет выходить на сплав, Подрезов гонит народ к реке, обещая при этом спирт и по 600 граммов хлеба на брата. Он и сам спускается вместе с людьми на берег и берет в руки багор.

В этом человеке есть обаяние силы — и народ за ним идет. Люди и боятся Подрезова и слушаются его, уважая в нем «своего», ибо Подрезов, как и пекашинцы, «на деревянной каше вырос». Подрезов строг к другим, строг и к себе. Дома он такой же «хозяин», как и в райкоме. Дом его напоминает отчасти мастерскую столяра, отчасти кабинет секретаря райкома. На самом видном месте стоит верстак с инструментом. На стенах висят плакаты времен войны. Жена тихо встречает и тихо провожает его, не зная от него ни внимания, ни ласки. Подрезов из тех людей, для которых нет ничего «личного».

Но и личная честность Подрезова не может изменить того, что колхозники в его районе получают по

пятнадцать копеек на трудодень, а утро в каждой избе начинается с мыслей о хлебе.

Абрамов в романе рисует не только Подрезова, но и подрезовщину — то есть ту систему хозяйствования, при которой и народ, и те, кто стоит над народом, как бы не вольны в своих действиях.

Один из винтов этой системы — «уполномоченный» Ганичев. Он толкач идеи Подрезова и приказов Подрезова. Ганичев старается не для себя — старается для государства. Он, как и Подрезов, лично чист. Он питается чем бог пошлет, мерзнет в своем пальтишке без ваты, в котором мотается в холода по району, а дома у него шестеро ребятишек и все, как и отец, в железных очках (от недоедания плохое зрение), все, как и он, плохо одеты.

Но Ганичев как будто не чувствует ни холода, ни голода. Раз есть план по займу — план подписки на столько-то тысяч рублей — он должен его выполнить.

Его в романе зовут «Железные зубы» (полный рот стальных зубов), но, кажется, у него и железное сердце, потому что последнее забирает он у колхозников, предъявляя им счет на огромные суммы.

От Оси-агента колхозники еще бегают, а от Ганичева не скроешься. Он, кажется, днюет и ночует в домах, все заветные разговоры, какие бывают в семье, подслушивает. Задумал Илья Нетесов козу купить (дочь у него больна, козье молоко нужно), Ганичев тут как тут: как же, козу купить хочешь, а на заем денег нет? Да еще член партии. Выкладывай денежки.

И отдает Илья Нетесов эти деньги и плачет от горя. Мишку Пряслина поражают эти слезы. «Кто плачет? — спрашивает себя он. — Илья-победитель!»

Герои как будто повязаны одной необходимостью:

Ганичев не может не взять, Илья не может не дать. И потому-то Мишка Пряслин задает в конце романа свои вопросы: «Что делать?.. Как жить дальше? Куда податься?»

Это вопросы обо всем — и о Тимофее Лобанове и его судьбе (между прочим, сам Мишка привез тело Тимофея из районной больницы в Пекашино), о Евсее Мошкине, которого увели под конвоем двое «криводушников» (будто бы он какую-то молитву сочинил), о Егорше, о налоге, о займе, о погибшей корове, которую пришлось зарезать, о Варваре, которая, любя его, ушла с Григорием Мининым. Сунулся Мишка к ее воротам, поднялся на знакомое крыльцо, а у двери не «пристав», который обычно ставят в Пекашине, когда уходят из дома, а замок. Навсегда уехала из Пекашина его любовь.

Абрамов скуп на описания любви, как скуп он вообще на всякую «лирику». Социальная боль забивает в его прозе остальные чувства, не дает им выпростаться из-под этой боли, освободиться. Только мелькнет где-то упоминание о «запахе невидимой в лесу земляники», зажурчит в глухом ельнике «новорожденный ручей», прозвенит, как колокольчики, голос Варвары, увидит Мишка, как «дрожат березовые веники в предутреннем ознобе», журавли пролетят над деревней, вызывая тоску по дороге, — и все.

Чуток слух у героев Абрамова. Мишка издалека слышит и распознает в шелесте дождя шаги матери, так же за несколько домов до их дома слышит старая Макаровна, как возвращается из леса ее Степан Андреянович.

Абрамов поэт любви — материнской, сестринской, братской. Чувство женщины к мужчине и мужчины к женщине обременено долгом. Долг обязывает, долг не велит, не поощряет, осуждает. Он — часовой при нетер-

пенье любви, страж при ее свободе, врач при ее безумии. Любовь в романах Абрамова вспыхивает и сгорает, как зорька: ее время — час между ночью и днем.

И все же этот час дается и Мишке с Варварой, и Лизке Пряслиной, и Анфисе Мининой. Анфиса только ночку белую любит Лукашина, а потом он уезжает на фронт. Лизка недолго знает счастье с Егоршей, ибо бросает ее Егорша и подается в бега. Поперек любви Варвары и Мишки становится вся деревня.

Мишка жертвует этой любовью ради семьи, но делается ли он счастливым? В романе «Дом» Абрамов показывает его уже отцом семейства, мужем Раисы Клевакиной. У них дети, хозяйство, достаток. Но того, что было у Мишки с Варварой, у них никогда не будет. И неспроста Абрамов убирает Варвару из романа, заставляя ее чуть ли не покончить с собой, чтоб только не возвращаться к этой ране, чтоб хоть так уйти от ответа на вопрос, что же такое любовь.

В «Доме» мы узнаем, что Варвара до последней минутки любила Мишку, что ушла она из Пекашина, чтоб не портить ему жизнь, да и из жизни она ушла потому, что не могла без Мишки, но как было этому помочь? Абрамов не видит выхода. Как и всюду у него, долг взял верх над чувством, долг поставил точку в этой истории.

А что выпало Лизке? Два-три поцелуя, которые сорвал с ее неопытных губ опытный Егорша? Несколько мучительно-счастливых мгновений, сменившихся одиночеством, фактическим вдовством? «Болотная сосенка-заморыш», как пишет о ней Абрамов, недоросток военный. Но, может быть, нет более женственного образа в его прозе, чем Лизка. Лизка — совесть Пекашина. К Лизке идут и стар и млад. Лизка и пьяного Евсея с улицы подымет, поможет до дому добраться, и за Степаном Андреяновичем, как за родным отцом,

будет ухаживать до самой его смерти (недаром тот завещает ей ставровский дом), и дома, и в лесу, и на коровнике она первая, Лизка всем нужна. У других плач по дворам, братья и сестры не ухожены, у Лизки не так. Она и кормилица, и поилица, и свет в окошке. Если правда, что село стоит на праведнике, то Пекашино держится на Лизке. Мишка — его руки, а Лизка — сердце.

Выдавая Лизку за Егоршу, Мишка Пряслин думает: «Не за молоко ли... продает... сестру?» Так получилось, что Егорша почти что *купил* Лизку. Он выкупил ее любовь у Мишки за тыщи, которые получил за проданный мотоцикл и которые отдал Мишке на новую корову.

Читая о «свадьбе» Лизки, плакать хочется. Жалкая свадьба, жалкое угощение. Бедный наряд девочки-подростка — бусы из ягод шиповника на шее — и печальная песня, провожающая ее девичество. Торжествующий Егорша, как бы сорвавший свой куш и доказавший в очередной раз всем, что все они «древесина пекашинская», и глухие упреки Мишки самому себе — все это усиливает отчаянье при виде Лизкиной свадьбы.

«А если это любовь? — спрашивает себя Мишка. — А если она рада, что вышла за Егоршу? Ведь есть же, есть же на свете такая штука, как любовь».

Видимо, есть, но мысль о любви Мишку ранит. До любви ли ему, когда надо кормить семью? Когда кроме работы в колхозе и в лесу надо еще сено накосить корове, а косить нигде не дают?

Глядя на Мишкины руки, — а руки эти «бледные, бледные, под цвет проросшей картошки, и на этих руках... многочисленные порезы и порубы» — Лукашин думает: «По рукам он, пожалуй, не моложе меня».

И в самом деле: чуть ли не старше. Потому что

растет Мишка быстрей Лукашина, потому что на то, на что Лукашину была отпущена целая жизнь, Мишке дается несколько лет.

В романе «Две зимы и три лета» Мишкина душа просыпается для вопросов и, кажется, ее теперь уже не заставишь заснуть, оцепенеть, как было раньше. «Ах, жизнь, жизнь, — говорит герой Абрамова, — неужели и дальше так будет? Неужели нельзя иначе?»

* * *

В последних строках «Двух зим» Михаил Пряслин (станем теперь называть его так) видит звезду над избой. «Яркая летучая звезда» прочерчивает небо над головой и рассыпается над крышей заиндевевшей избы, высвечивая ее зеленоватыми отблесками.

Путь звезды неизвестен и гибелен. Дом стоит крепко. Звезда манит, но она далеко, в холодном небе. И жизнь ее недолга, судя по всему.

Абрамов как бы сравнивает судьбу Егорши и Мишки. И вместе с тем, в этой метафоре заключен и еще один намек. Звезда — это всегда символ идеала, мечты, недостижимого света. Как связан со звездою дом? Есть ли между жизнью в доме и жизнью, которую олицетворяет звезда, какое-то родство? Или навеки разделены они?

Абрамов заставляет своего героя поднять глаза к небу не для того, чтоб он задавался праздными вопросами. Он хочет связать идеал и жизнь, высшие устремления человека и его мечту о куске хлеба.

Как и в очерке «Вокруг да около», он хочет подвести Михаила Пряслина к каким-то поступкам. Он хочет побудить его действовать.

Пряслина Абрамов писал со многих людей. Он отдал ему черты своего старшего брата. Он многое пере-

дал Михаилу от своих земляков. Но он и наделил его отчасти своею душою — своим правдоискательством и своей истовостью.

«Истовехонький отец», — говорят о Михаиле в Пекашине. А отец Михаила не был «тихим» мужиком. Это был буян, богатырь, мужик с норовом. Это была гроза мужиков округи.

Мишкина душа жаждет жить по совести. Она больно ударяется о всякую ложь, об умолчание, о предательство.

Ложь хитра. Есть открытая, наглая ложь. Но есть ложь красящаяся, помадящаяся, рисующаяся под правду. Есть ложь, оправдываемая высокими теоретическими соображениями. Есть ложь во спасение, ложь умолчания, ложь неучастия, ложь самовлюбленной оппозиционности.

Все эти лжи Абрамов преследовал — в том числе и в самом себе. Меня всегда удивляло, как гнев в Абрамове, раздражение против какого-то события или человека сменялись упреками в свой адрес, даже самоуничижением. Выступая в Останкине, он упомянул в списке чтимых им писателей некого N. В тексте, вышедшем в эфир, он эту фамилию снял. Через некоторое время в разговоре со мной он коснулся этого эпизода. И тяжело клял себя за то, что проявил малодушие. N совсем не нравился ему, более того, был ему противен и чужд, но N был редактором толстого журнала. «Наверное, понравиться ему хотел, — говорил о себе Абрамов. — И доколе во мне еще будет сидеть это рабство?»

Он был горд, но он мог так сказать о себе.

Вспоминаю рассказ «Слон голубоглазый». Рассказ очень личный для Абрамова. Речь в этом рассказе идет о событиях, которые случились не в чьей-то, а в его жизни. «... в те трудные дни, — пишет Абрамов, имея в виду 1949 год, — я и сам не лучшим образом вел се-

бя. Меня в те дни захватил какой-то всеобщий страх и малодушие, и в душе я не раз клял себя за то, что так легкомысленно, так необдуманно связал свою жизнь с человеком такой судьбы и тем самым навсегда погубил свою чистую, свою безупречную биографию, которая по тогдашним временам открывала передо мной все двери».

Спустя тридцать лет он публично оповестил об этом читателя. Он сделал это, как всегда, смело, искренне и прямо. Как делал это и в жизни, смущая неожиданной искренностью тех, кто становился свидетелем ее.

Означает ли это, что он никогда не лукавил, не соглашался молча с неправдой, не был гибок, осторожен, опаслив, не учитывал, что называется, соотношения сил, ничтожности результата, который увенчивает честный поступок и честную речь? Был осторожен, учитывал. Но и не хотел прощать себе этого. Животворное чувство — чувство вины — было дано ему, как и талант.

Это чувство терзает и Михаила Пряслина. В романе «Пути-перепутья» (1972) он встает на защиту Лукашина.

Действие романа относится к началу пятидесятых годов. Подрезов и подрезовщина доживают свои дни. Они еще в силе, в полной силе, но их век уже измерен. Однако все попытки Лукашина противостоять подрезовщине разбиваются о ее гранит.

Лукашин, желая спасти колхозный коровник, а стало быть, и весь колхозный скот, идет на то, чтоб раздать плотникам, строящим этот коровник, хлеб из амбара. У него нет выхода. Мужики отказываются работать, потому что в колхозе ничего не платят. Они разгружают баржи, привезшие товары для сельпо, и тут же пропивают свой заработок на берегу.

Хлеб возвращает их на работу. Но розданный хлеб

ожесточает голодных баб. В Пекашине вспыхивает бабий бунт. Бабы требуют дать хлеб и им.

Весть об этой истории доходит до района. Лукашина берут под арест. Он нарушил закон. Он раздал колхозное зерно.

Этот отчаянный поступок Лукашина — попытка личной честностью преодолеть общее зло. Попытка одинокая и безысходная, потому что поправить в Пекашине что-либо она не может.

А Пекашино скудеет день ото дня. Люди уходят, и вера уходит. Тает вера в трудодень, в то, что если что-то и заработаешь, этого у тебя не отберут. «Был один запоздалый идиот в Пекашине, — говорит о себе Михаил, — и... кончился». И страшным приговором Подрезову звучат его слова, сказанные еще в романе «Две зимы и три лета»: «На колени от радости встану — только дайте немного на трудодень».

Одни в деревне уходят в пьянство (бригада Петра Житова), другие в староверчество (Марфа Репишная), третьи (Егорша Ставров) кочуют по свету. Стукнул Егорша дверьми ставровского дома и отбыл навсегда из Лизкиной жизни. «Жизнь ушла из дому», — пишет Абрамов.

Жизнь, судя по всему, уходит и из Пекашина. В романе поют частушку:

Конь вороной,
Белые копыта,
Когда кончится война,
Поедим досыта.

Но и через пять лет после войны эта частушка звучит актуально. Колхозникам не только не выдают хлеб на трудодень, но и частное сено отбирают. «Установка такая — заприходовать все частные сена», — говорит Анфисе Лукашин.

В то время, как Лукашин бьется из-за коровника и Петр Житов говорит ему: зачем строить коровник и вообще иметь коров, когда тратим на литр молока два рубля с полтиной, а государству продаем за одиннадцать копеек, — уполномоченный Ганичев, как и вся районная верхушка, штудирует труды Сталина по вопросам языкознания.

Степан Андреянович Ставров, уйдя на дальние пожни, которые он когда-то расчищал от леса, теперь видит их заросшими кустарником. Выходит, зря старался, снова лес взял свое. «Помирать скоро надо», — говорит он себе.

« — Давай помирать! Ничего-то выдумал. Пятнадцать лет до коммунизма осталось», — отвечает Михаил.

« — Точно, точно говорю. Сталин это дело еще в сорок шестом подсчитал. Я, говорит, еще при коммунизме пожить хочу, а ты на много ли его старше?»

Но Степан Андреянович умирает, только белые стружки от его гроба шелестят в сарае. И плачет, увидя эти стружки, неунывающий Егорша.

Кажется, из деревни ушло то, на чем извечно стояла она — власть труда. Это была для крестьянина самая верховная власть. Ничто не могло заставить его остаться дома, когда предутренний свет уже сочился в окна, обещая день. Когда пастушья побудка уже собирала скотину в поле. Крестьянин вставал затемно и ложился затемно. Едва сходил снег, как он уже ладил плуг и откладывал все прочие дела до зимы. Несмотря ни на что он должен был косить сено, обихаживать дом, кормить семью. Круглый год труд, как солнце, обозначал календарь его жизни и очерчивал круг ее содержания. Перед властью труда смирялось все, отступало все.

А «нынешний мужик, — думает в романе Анфиса, — без погоняла палец о палец не ударит», «Когда,

с какого времени сели топоры у мужиков? — спрашивает она. — А с той самой поры, когда в Пекашине — который уже раз — до зернышка выгребли хлебные сусеки». Топор, грабли, косу и плуг заменила мужику бутылка.

Есть в Пекашине исключения: Илья Нетесов (прекрасный кузнец), Евсей Мошкин — он даже улицу стружками посыпает, чтоб не грязно было ходить, и Михаил Пряслин. И конечно, Лизка. У других коровы запущенные, заросли все, а у нее «ухоженные, бок лоснится, переливается — хоть заместо зеркала смотрись».

Как ни жмут на деревню сверху, как ни безнаказанно выкачивают из нее все, ум и сметка мужика ищут путей, чтоб обойти воздвигающийся на его земле заслон, просочиться сквозь цемент и выйти с кормилицей-пашней один на один.

С удивлением узнает Лукашин, что в соседнем колхозе есть «потайные хлеба». Это поля, где сеют и собирают хлеб, не облагаемый налогом. Про эти поля знает даже Подрезов — знает, но молчит, потому что если и вовсе не кормить войско, то какой же он полководец?

Подрезов, как говорит Лукашин, не может ничего изменить *в природе*, и надо понимать так, что имеет в виду не только землю, лес и воды, а и природу крестьянина, мужика.

В романе «Две зимы и три лета» Лукашин с помощью Подрезова вырывает из рук Дорохова (районный страж порядка) Евсея Мошкина, заподозренного чуть ли не в религиозной агитации. В «Путях-перепутьях» сам Лукашин оказывается в руках Дорохова.

Желая спасти Лукашина, Подрезов идет к Дорохову. Дом, где помещается учреждение Дорохова,

стоит рядом, через дорогу. Дорохов — всего лишь чиновник, который по рангу стоит ниже Подрезова. Но в его темном (на окнах всегда шторы) кабинете вершатся дела, в которые предпочитает не вмешиваться секретарь райкома.

Не без смущения переступает Подрезов порог этого святилища Бдительности. Дорохов встает ему навстречу, и на губах у него играет непроницаемая улыбка. Он испытывает Подрезова своим молчанием, своим ожиданием защитительных слов по адресу Лукашина.

И у Подрезова не хватает мужества их произнести. Что-то пробормотав и попробовав даже пошутить о чем-то, он удаляется из этого кабинета ни с чем.

И тогда то, что не смог сделать Подрезов, пытается сделать Михаил Пряслин. Он пишет письмо в защиту Лукашина и обходит с этим письмом деревню. История с письмом драматически завершает роман «Пути-перепутья».

То, что отражено в нем, действительно пути-перепутья для народа. Завершается старая эпоха, по всем признакам она кончает свою жизнь — и это чувствуют даже такие апологеты ее, как Подрезов, — но новая еще не наступила. Она как бы уже народилась в душах героев, уже начала свой исторический отсчет, но стрелки на циферблате пока передвигаются по старому распорядку. Кто их сдвинет? Кто найдет в себе силы опередить мгновенье и подтолкнуть ход часов?

Михаил Пряслин берет это на себя. Он бросает вызов самому Дорохову.

Но стоит Михаилу оказаться с этим письмом у чьего-либо дома, как закрываются двери и не отзываются хозяева. Люди, ради которых Лукашин преступил закон и раздал хлеб (ибо старался для них и только для них), делаются глухи к просьбе о помощи. Петр

Житов, который в своем «кафе «Улыбка», как называют в Пекашине заседания мужиков в житовской бане с бутылкой водки, поносит все и вся, — шарахается от Михаиловой бумаги, как от «коллективки». Он объясняет оторопевшему Михаилу, что это письмо могут подвести под антисоветскую агитацию.

И Марфа Репишная не подписывает (она в мирские дела не вмешивается), и шофер Лукашина, его верный пес Чугаретти, и старуха Парасковья. Страх крадется по деревне впереди Пряслина. На Михаила смотрят как на сумасшедшего, как на самоубийцу. И с сердца Михаила срываются от безнадеги жестокие слова: «Сука народ. Самые что ни на есть самоеды... Иван Дмитриевич из-за вас, сволочи, в тюряге сидит, а вам и горя мало...»

Михаил никак не может примирить две мысли — ту, что Лукашин заступился за народ, и ту, что народ теперь за Лукашина заступаться не хочет.

И, как всегда бывает в таких случаях, женщины оказываются смелей мужиков. Письмо все-таки подписывают — подписывает Антонина Баева, подписывает Лизка, подписывает Раечка Клевакина. Последнее, между прочим, решает ее судьбу. За эти пять минут, пока был разговор с Раечкой и подписывала она Михаилову бумагу, «прошибла она его сердце. Надолго. Навсегда».

Самый напряженный момент в истории с письмом — приход Михаила в дом Ильи Нетесова. Илья Нетесов всех потерял — и дочь, и жену. Как пишет Абрамов, может быть, со временем в Пекашине будет много хлеба и будет вообще рай, но зачем этот рай Нетесову?

Илья читал письмо «долго, хмурился и вздыхал, в общем, искал зацеп, чтобы самому увернуться,

Наконец, нашел:

— Тут, по-моему, знаешь, чего не хватает? Самокритической линии...

Михаил, не дослушав, отвернулся. Нет ничего хуже — смотреть на человека, который на твоих глазах начинает крутить восьмерки!

А в общем, ежели говорить начистоту, претензий к Илье у него не было. Человек в колхозе не жил. (Последнее время Илья отсутствовал в Пекашине. — *И. З.*). Партийный... Характер, известно, не матросовский. Всю жизнь Марьи боялся...

Э-э, да чего на пристяжных отыгрываться, когда коренники не тянут...

Михаил встал:

— Ладно, обживайся помаленьку, а мне пора... — И вдруг, пораженный внезапно наступившей в избе тишиной, обернулся к Илье.

Илья подписывал письмо».

Илья Нетесов, Лиза Пряслина, Антонина Баева да Раечка Клевакина и Михаил — вот все, кто поставил подпись под письмом. Три женщины и двое мужчин. Но и это кое-что. А для Абрамова даже очень много.

«Пути-перепутья» как бы устремляются к этому финалу всеми своими противоречиями, всеми несостоявшимися спорами. Герои не спорят на словах, но в романе происходит спор событий, за которым — незримо — стоит и спор идей. На вопрос «что делать?» Абрамов не видит иного ответа, кроме ответа личной честности и личного мужества. Народ не отвлеченное понятие. Народ состоит из людей. И если один скажет правду, если один настоит на своем и не дрогнет, значит, правда не умерла, совесть не пропала.

Даже сам Михаил говорит сестре: «Ну зачем ты подписалась? Зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала? Жизнь свою загубила...»

Лиза «не отвечала, потом, вздохнув, сказала:

— Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести».

Такова вера Лизы Пряслиной. Такова и вера Федора Абрамова. Где один, два, три соберутся во имя этой веры, там и народ.

* * *

«Пути-перепутья» — роман о начале пятидесятых годов с их ужесточением в общественной жизни, в литературе и науке.

«Хозяева районов» едут на пароходе в Архангельск, гуляют по пути, а вместе с ними едет на пароходе страх. Уже на Подрезова повышает голос подвластная ему масса, уже инженер Зарудный, которого Подрезов сам выдвинул на работу в леспромхоз, говорит ему горькие слова о том, что «крик да кнут трактор и автомобиль не понимают».

Этот Зарудный крепкий «камешек, из которого искры сыпятся».

Надвигается эра технического перевооружения, при которой с лошаденкой да голыми руками из лесу ничего не возьмешь. Нужны машины, для машин — грамотные кадры, для людей нужны дома, а не бараки.

Абрамов прощается с эпохой Подрезова под аккомпанемент частушек, в которых поется о голодной и безмужней жизни (вдовьи и девичьи песни), под крики баб, бунтующих у хлебного амбара, под сны Анфисы, видящей, как уводят из дому Лукашина, под слезы Лизки, навсегда расстающейся со своим Егоршей.

В очерке «Вокруг да около» Абрамов, отмечая, что деревня строится, писал об одном «одичалом доме»: «Стены из отборного сосняка, со звоном, как говорят, углы просмолены (навечно!), вставляй только рамы

и справляй новоселье. Но дом так и состарился, не дождавшись новоселья. Кто его хозяева, где они теперь? Живы ли еще? И что их обидело так, что они бросили новый дом да так ни разу и не проведали его?

Торчит старый дом на взгорье, день и ночь ждет своих хозяев. А хозяев все нет и нет...»

Этот образ одичалого дома приходит на память, когда читаешь о доме в «Путях-перепутьях». Да и где только не является образ дома у Абрамова! В рассказе «Дела российские» (1963—1964) это не один дом, а целая запущенная деревня среди овсов, в повести «Жила-была семужка» (1962) — дом маленькой семужки, которая, став большой рыбой, стремится в свою реку, к породившей ее протоке, в «Пелагее» и «Альке» (1969, 1971) — дом Пелагеи, в «Деревянных конях» (1969) — дом с конем в заброшенной Пижме.

Говорят, Абрамов описал в «Деревянных конях» деревню Смутово. Я был в ней. От деревни осталась одна улица. Высокие избы-мавзолеи (у Абрамова есть рассказ «Бревенчатые мавзолеи») стоят лицом к лесу, спиной к реке. Огороды выходят на реку, обрываются у песчаной косы, по твердой поверхности которой надо долго идти, прежде чем окажешься у воды.

Избы еще стоят, у многих из них порушены пристройки, в некоторых забиты окна. Когда-то над каждым из этих домов красовался деревянный конь. Теперь только один конь горделиво выгнул свою почерневшую грудь и смотрит на пустую дорогу.

Дорога вся поросла травой-муравой, такой жесткой травкой, по которой, однако, приятно ходить босиком. Дорога убегает в луга, а те, в свою очередь, переходят в лес. В преддверии леса виднеется деревянная башенка часовни святого Артемия. Часовня вся разорена, на колоколенке гуляет ветер, но с нее хорошо видно окрест. Видны раскинувшаяся вдали на высоком противополож-

ном берегу реки Веркола, Пинега, темные острые ели на той стороне, отражающиеся в ее воде. Когда поднимаешься наверх, скрипят облепленные голубиным пометом ступени.

Почему деревню назвали Смутово? Может быть, была здесь какая-то смута? Может, бунтовали мужики? Или поселились за рекой смутьяны, которым пришлось уйти из большой деревни?

Меня встретил лай собаки. Мы с Женей Стахеевым, который довез меня до Смутова на лодке (он работает в Верколе в совхозном гараже), поднялись на крыльцо его дома. Нас встретила мать Жени Августа Александровна. Доброе, все в морщинах лицо. Девятерых сыновей вырастила она, и все живы. Приезжают с внуками и внучками на побывку. А двое работают тут, неподалеку. Но Женя, например, строится в Верколе. Ему не хочется отрываться от магазина, от клуба, от дороги в район. Дом, хоть и крепкий, видно, доживает свой век.

Августа Александровна напоила нас чаем с шаньгами и пошла доить корову. Ей за семьдесят, но она ни минуты не сидит без дела. Корова, сено, внуки — весь день в работе. Руки у нее, как у всех абрамовских героинь, «как грабли» — всего повидали эти руки. Сухая, маленькая, а сколько в ней силы.

Покидая ее дом, я вспоминал рассказ Абрамова. Вспоминал ночь, проведенную его героем в старом дому, чувство счастья оттого, что он может ходить босиком по старым половицам. Его вину перед теми, кто не бросил дом, а остался.

Эту вину чувствует Иван в рассказе «Дела российские». Вместе с охотниками проводит он ночь в родном дому в своей бывшей деревне, в которой было когда-то «девятнадцать домиков», а ныне «доходяги... с черными провалами вместо окон». А один дом спалили охотники,

вздумавши побаловаться в нем огоньком. Просто взяли и разожгли костер в дому — и остались от него одни головешки.

Всю Европу прошел Иван в войну, а такой красоты, как у них в лесной деревне, не видал, и такой воды, как в их роднике, бьющем на дне оврага, не пивал. «Зуболом вода», а от болезней лечит.

Тоска по дому гонит в деревню и одного из героев повести «Мамониха» (1980). Мамониха вся поросла кустами, там уже никто не живет, но человека тянет на родное пепелище. Он приезжает сюда на день-два, а остается навечно. Уже выйдя из отцовского дома и попрощавшись с ним, он вдруг возвращается назад. Родные в недоумении остаются на улице, ждут, когда он выйдет, а он не выходит. Бросаются они в дом — а он там под потолком в петле висит.

Смерть часто обрывает судьбы героев Абрамова. Она является и как освобожденье и исход, если жизнь кончена и силы исчерпаны (так умирают у Абрамова старики), и она вдруг разрубает узел сюжета, если автор не знает, как его развязать. Есть смерти неотвратимые — как смерть Степана Андреяновича и смерть героя «Мамонихи» — и смерти случайные, нелепые, когда Абрамов просто избавляется от героев, которые ему не нужны. Так происходит с Настей в «Братьях и сестрах», с Варварой, с Лукашиным, которого уже после освобождения внезапно настигает бандитский нож, с сыном Лизки и Егорши — тот тонет в Пинеге.

То, что герой «Мамонихи» не захотел больше жить, — это естественно и сильно, то, что Настя, или Лукашин, или Варвара должны погибнуть — это натяжка и слабость.

В 1981 году Абрамов, готовя «Мамониху» для отдельного издания, вставил в нее обнадеживающий эпизод. Этого эпизода не было в журнальном варианте

повести. В нем посреди всеобщего разоренья предстает пример возрождения деревни — в соседнем с Мамонихой Ржанове, где тоже «два домишки в верхнем конце, дом посередине, три в нижнем» — все разлетелись по городам — раздается стук топора. Человек брусит толстое, насквозь просмолевшее бревно. Он хочет из него сделать столб, а столб этот вкопать в землю, а на него «щит, обтянутый алюминием, набить, а на щите коротко все данные о Ржанове: когда, кем основано, сколько жителей было, кто на войне голову сложил».

Столб тот, по расчетам мужика — поскольку он из лиственницы, — не меньше пятидесяти лет простоит. А там народонаселение увеличится, народу прибавится, и надо будет кому-то и в Ржанове жить. Вернутся люди.

Такова мысль Абрамова.

Но мысль эта одиноко повисает в повести. Она не может снять боли, вызванной гибелью Мамонихи.

Такие публицистические вставки нередки в прозе Абрамова. Накал чувств столь силен, что автор не может перераспределить их между героями, он сам становится героем своей прозы. Он вмешивается в ход вещей и, говоря современным языком, хочет придать им ускорение. Вот почему в романах Абрамова так силен голос Абрамова. И вот почему мужики в тех же романах говорят меньше, чем автор. Абрамов не раз бросает реплики, что мужики, мол, схлестнулись резко, на всю катушку. Но самих разговоров не дает. В рассказе «Дела российские» он пишет о споре охотников на ночлеге: «Крупно, российскими масштабами заворочали». А как заворочали, о чем толковали — ни слова.

Он молчит, когда речь заходит об общих идеях, которые не чужды каждому, кто думает о российских делах. А уж тем более о делах «в масштабах всего шарика», как сказано в романе «Дом».

Даже уходя от прямого разговора в шутку, в анек-

дот, в афоризм, в образ, русский человек, а тем паче крестьянин, который еще не набил мозолей на языке, высказывается без обиняков.

Казалось бы, «Дом» (1978) — единственный современный роман тетралогии Федора Абрамова — должен был стать романом таких речей. И одну речь, один монолог — монолог Евдокии-великомученицы — Абрамов все же вывел в нем, вытянул от начала до конца — и на нем-то, на прямой речи этой женщины, соперничающей с плачами героинь русского эпоса — и держится здание «Дома», его поэтический феномен.

Вместо хора здесь звучит, по существу, один голос, но тысячи голосов отзываются в страстном исповедании Евдокии Дунаевой.

* * *

«Дом» был заветной книгой Абрамова. Наконец-то он вышел со своими романами в наши дни. Наконец-то он вытянул Пряслиных в семидесятые годы.

Если раньше на пути его мысли и мысли его героев стояла война, даже когда разговор заходил о годах послевоенных, то теперь спрос был уже не с войны.

«Кто виноват?» — спрашивал в свое время Герцен. Кто виноват? — спрашивает и Абрамов. Есть за что спросить и есть с кого спросить, потому что жизнь в Пекашине, избавившись от голода и нужды, не стала той жизнью, о которой мечтали герои «Братьев и сестер».

«Кончилась колхозная жистянка», — как говорит Михаил. Теперь в Пекашине совхоз. Все получают зарплату. Есть и пенсионерки-«двадцатирублевки». И в доме Михаила Пряслина — *новом* доме — все блестит: «Все новехонькое... сервант полированный с золотыми рифлеными скобками, полнехонький всякой посуды, диван с откидными подушками, тюлевые занавески на ок-

нах, ковер с красными розами, во всю стену». А в хлеву новая Звездоня траву жует, и в первых строках романа Михаил барана разделывает да смотрит на женины подколенки, когда та нагибается за ведром.

Совсем другая жизнь. Но и «народ стал другой». Теперь так просто его на общее дело не созовешь — все «по своим норам попрятались». Совхозу — совхозное (от сих и до сих), а остальное себе. Да и «нероботи» развелось много. Перед открытием магазина собирается вся к магазину, чтоб «бомбой» (бутылкой) запастись. «У нас на работу и с работы, — говорят бабы, — с рылом мокрым идут, земле кланяются».

С одной стороны, мотоциклы, телевизоры в домах, всякие там радиолы и холодильники, с другой — вот это: молодежь в джинсах ходит, работать не хочет, у нее «гипертония». Петр Житов после смерти жены Олены совсем спился, спился и Евсей Мошкин. Раньше людей работа мучила, пишет Абрамов, а теперь они работу мучают. «Куда это мы, Петро, идем, а?» — спрашивает Михаил своего вернувшегося брата. И брату нечего на это ответить.

Роман «Дом» — роман возвращений. Приезжают в Пекашино двойняшки пряслинские Петр и Григорий. Возвращается из дальних краев Калина Дунаев. Сам Егорша Ставров направляет лыжи назад — поближе к дедовской избе с конем.

Но не радостны эти возвраты. Деревня раскололась, расслоилась. У Калины Дунаева своя жизнь, свои воспоминания, у Пахи-рыбонадзора — другие. Он на ставровский дом зарится, он на своем рыбонадзоре так нажился, что полдеревни в кулаке держит. Этот Паха-рыбонадзор напоминает Геху-маза из повести «Мамониха». Конечно, у Гехи власти над Мамонихой побольше (он там один), но сила и жажда подмять всех под себя, опираясь на свою технику, те же. Пахе его мотор и за-

кон служат (он просто взятки берет), а Гехе его МАЗ да трактор. Оттого его и прозвали Гехой-мазом. А то раньше звали Геха-бык. Бык все же не МАЗ, силенок поменьше.

Если в «Путях-перепутьях» Абрамов выставлял против Подрезова инженера Зарудного и его технические идеи, то в «Доме» техника уже начинает давить на деревню, давить на человека.

«Он два раза обошел закраек Сухого болота, — пишет Абрамов о Михаиле, — пытаясь найти ту злополучную сосну... и не нашел. Давно на Пинеге изведен строительный лес, за стоящим деревом за пятнадцать и за двадцать верст ездят...

Не нашел Михаил и пекашинских гектаров Победы.

Господи, с какими муками, с какими слезами раскапывали, засевали они тогда тут поле! Помирали с голоду, а засевали. Из глотки вырывали каждое зернышко. И вот все для того, чтобы тут всколосился осинник.

Хорошо растет осинник на слезах человеческих!»

Из Сухого болота Михаил выходит в поле. Но оно «средь лета голое, без единой травинки». В чем дело? Загубили навины глубокой вспашкой. «Михаил отвернул еще один пласт, отвернул другой, третий... везде одно и то же: в глубокой борозде, как в могиле, лежат зерна, придавленные глиняной плитой».

Трактористу сказали — паши на такую глубину, он и пашет. Он не задумывается, что на *этих* полях на *такую* глубину пахать нельзя. Есть задание, есть план. А что из этого плана вырастет — не важно. Ему важно свои гектары отпахать.

И опять кипятится Пряслин, опять бежит в правление — теперь уже не колхоза, а совхоза — выяснять, почему губят пашню. А ему: ты «технически мало-

грамотен», ты ничего не понимаешь, тебе больше всех надо.

У Михаила в «Доме» свой антагонист — Таборский. Его любимая поговорка: «Нервные клетки не восстанавливаются». И он бережет эти самые клетки. «Никаких прижимов, никаких притеснений: сам цыган и другим цыганить не мешай».

Таборский — типичное порождение разврата слова и разврата труда. Как ни был жесток Подрезов, он не был «цыган». Он и другим спуску не давал, но и с себя спрашивал. Он был человеком идеи при всем при том.

У Таборского никакой идеи нет. Его идея — прожить, выжить. Проканителить как-нибудь. И чтоб начальство было довольно (за цифрами не видя дела), и чтоб самому было хорошо. О своем благе он очень заботится. Он не прочь позаботиться и о благе ближнего — только, естественно, за счет государства. Не из своего кармана берет, из чужого.

Таборский верток, хитер. Против него Михаил Пряслин «как топор прямой». А тот все обходными дорожками да тропинками и при этом все «от имени народа», «с согласия общественности».

Если, скажем, у Егорши Ставрова демагогия и газетные фразы — игра, актерство и хвастовство своим умением вписаться в «разрез линии» (если и имеет что-то с этого Егорша, то не так много — и тут же растрачивает, что берет), то Таборский в эту демагогию, как жук в навоз, зарылся. Ему там и тепло, и сытно, и никто его там не достанет.

Еще в романе «Две зимы и три лета» Лукашин возмущался тем, что не успели на заем подписаться, а уж в районной газете отчет об успешном перевыполнении плана подписки. Откуда? — спрашивал он Ганичева. — Что за чушь? И тот отвечал: сейчас пора на

другую кампанию переключаться, а те деньги, что не внесут колхозники, колхоз внесет.

Но ганичевские проделки — детские игры по сравнению с липой Таборского. У того все липа. На бумаге одно, а на деле иное. На бумаге шик да блеск, а в отделении развал по всем отраслям. Да и само Пекашино на себя не похоже стало. Собак бездомных видимо-невидимо развелось, ясли не строят, к маслозаводу не подъехать — тонет дорога в луже.

В 1978 году Абрамов напечатал очерк «Пашня живая и мертвая» (соавтором его был А. Чистяков). Абрамов писал о земле, как о живом человеке. Пашня в этом очерке и *дышит*, и *рожает*, *имеет плоть и душу*, на нее можно *покушаться*, как на жизнь человека. И пашня просто бывает *живая* и *мертвая*.

Так же относится к земле и Михаил Пряслин. Но не так относится к ней Таборский. И не один Таборский. Таборский был бы невозможен, если б не «сели топоры у мужиков», если б мужики не перестали работать. Разврат по отношению к труду — самый худший из развратов — поразил Пекашино в «Доме».

Отсюда и «бумажная бормотуха», «самонакачка» на совещаниях-«разводах», болтовня везде и во всем.

Есть ли связь между подрезовщиной и таборщиной? Наверное, есть. После сильного нажима всегда наступает расслабление. Там, где привыкают работать из-под палки, когда эта палка перестает бить, перестают и трудиться. Долгие годы подрезовщины измотали народ. Измотали не только физически, но и психологически. И когда «отпустило», все пошло наперекосяк. Как будто мышцы размякли и наступила апатия.

Как говорит Абрамов, взяли пекашинцы «отпуск у жизни». Желая поддержать их угасший дух, обращается Федор Абрамов к великим *примерам*, к тем кострам, которые не чадили, не тлели в ожидании, что

их кто-то раздует, а сгорали на ветру. Так является в романе другой роман — история Евдокии-великомученицы и ее мужа Калины Дунаева.

Дунаевых много на Пинеге. Я говорил с одним Дунаевым на похоронах Абрамова. Глаза у него голубые, как васильки в августе, — выцвели, но еще молодые. А рука тяжелая, сильная. Прокаленная солнцем грубая кожа, голос молодой, хотя ему уже за шестьдесят. При мне шутил он с мужиками — такими же крепкими, как он, несмотря на года, — что пора им в женскую баню ходить: уже можно.

Так что фамилия у героя Абрамова коренная, пинежская. А имя? Калина — это и закаленный, прокаленный, это и окалина и цвет раскаленного железа — красный. Были не люди — каленое железо. И сына своего Калина неспроста назвал Феликсом.

Калина — это и дерево калина, красные ягоды, сладкие после мороза, а до морозов горькие. Это опять-таки цвет красный, темно-алый, как цвет крови.

Крови не жалел Калина для революции. Ни своей, ни чужой. И с белыми воевал, и на Магнитке в бараках мерз — где его только не мотало! И всюду с женой и с дитем малым, которого тоже не щадили ни жара, ни холод. А остальные свои годы, начиная с конца тридцатых, провел он далеко от дома, «за проволокой».

Калина выжил — спасла его жена, Евдокия. Отмолила у судьбы и у начальства. Подставила под Эпоху (так зовут Дунаева мужики в деревне) свои женские плечи.

У ветхой избенки Дунаевых собираются по вечерам «ассамблеи». В Пекашине, как пишет Абрамов, «всюду ООН», а здесь особенно. Травят анекдоты, задают старику вопросы, поют песни, «перетряхивают жизнь».

О том, что спорят о делах серьезных, можно су-

дить по реплике Фили-петуха, который, кивая на ель, стоящую возле дома, урезонивает мужиков: « — Вы бы потише маленько... Вишь, ведь даже ель притихла — в жизни никогда такого не слыхала.

— Слыхала, — сказал Калина Иванович. — Тут жаркие разговоры бывали.

— Когда?

— А когда царское правительство политических на Север ссылало... Я тогда еще совсем молодым был, лет семнадцати, и, помню, тоже побаивался.

— Крепко высказывались?

— Крепко. Большой замах был. А зимой, когда их словесные костры разгорались, можно сказать, арктические холода от Пинеги отступали».

Два образа являются центральными в «Доме» — образ дома и образ костра.

Впервые этот костер вспыхивает в романе «Две зимы и три лета». Его зажигают в лесу Лукашин и Подрезов. И возле этого костра сшибаются они лбами по поводу жизни в Пекашине. И не только в Пекашине.

«Ассамблеи под елью» — эхо *того* костра. И, в свою очередь, еще более слабое эхо «словесных костров», которые вспыхивали когда-то на Пинеге.

В «Доме» это словесный костер без слов. Абрамов только и может сказать о прениях под елью: «Ух и заводились! Ух и вскипали!» «Распаленные мужики, — добавляет он, — трясли и рвали Калину Ивановича: дай ответ. А как давать ответ, когда он сам ни за что столько лет отстукал в местах не столь отдаленных!

Калина Иванович отвечал: моя эпоха, я в ответе. И даже в том, что его самого за проволоку посадили, даже в этом видел собственную вину. Так и сказал:

— Да, в этом вопросе мы не доглядели».

В романе поют любимую песню Калины Дунаева:

Ты, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

Эту песню слушают и братья Пряслины, Михаил и Петр. И Петр думает: а о нас «какую будут петь песню»? И будут ли?

После смерти Дунаева Михаил устраивает по нему поминки. Он уходит в лес и разжигает там костер. Алое пламя костра возникает в романе как отблеск алых знамен, которые склонились над могилой бывшего красного партизана. Михаил отдает честь ушедшей эпохе — ушедшей почти что в молчании (говорит за Калину в «Доме» жена, а сам он молчит), не завещавшей Пекашину ничего, кроме примера собственной жизни.

Этот костер — последний, этот костер — прощальный. Огонь пожирает остатки углей и гаснет.

Сын Калины Дунаева погиб на фронте. Там же сложил голову и отец Михаила. Михаил заменил Калине сына, а тот Михаилу отца. Михаил обмывал его, слабого, в бане, водил за руку гулять, нянчился с ним, любил его.

Но были и у них разногласия. И прежде всего они касались дома. «Мне вся страна дом», — говорил Калина Дунаев. «Шатун» — называет его Евдокия. «Ты ведь как журавей: все в небе, все в небе, — попрекает она мужа. — На землю-то спускаешься исть, да пить, да навоз сбросить».

Потому и избенка у Дунаевых плохонькая, во все щели дует. Калина Иванович ничего не имел при жизни — Михаил хочет иметь. Дом для него не стены для жилья. Дом — опора, корень, дом — все.

В романе, названном «Дом», не могут не думать о доме, не горевать о доме, не печься о доме.

«— А ты думаешь, нет, что с домом-то делать? — спрашивает Михаил Петра. — Ждешь, когда Паха за него примется? Ну да... Чего теперь для тебя какой-то там дом из дерева, раз сам Калина Иванович всю жизнь чихал на свой дом. А между прочим, Россия-то из домов состоит... Да, из деревянных, люди которые рубили...»

Старый пряслинский дом пустует. Он «сгорбился, осел, крыша проросла зеленым мхом». Лиза живет в ставровском доме, Михаил выстроил новый пятистенок, а Петр и Григорий вроде временные, приезжие.

Но и ставровскому дому приходит конец. Красавец-дом, дом-богатырь должен пасть от топора Пахи-рыбонадзора. Потому что продал его Пахе Егорша Ставров. Вернулся из странствий и, чтоб Лизе отомстить (а заодно и всем Пряслиным), продал почти что за бутылку. А Пахе не дом нужен, а место, на котором тот стоит, — лучшее место в Пекашине, в верхнем конце, на угоре, с которого далеко видно вокруг.

Дом Ставрова Федор Абрамов поместил там, где стоял и его собственный дом в Верколе. И хоть Пекашино не Веркола, а вымышленная деревня, угор тот же, Пинега под ним та же, и дали — они самые.

Дом Абрамова — одноэтажный, низенький, обитый зеленой вагонкой — в двух шагах от могучей лиственницы, которая описана в его романах. Именно здесь, по географии «Дома», и должен был бы красоваться дом Ставрова. Дом с конем.

Гибель дома Степана Андреяновича совпадает с раздорами и разором пряслинской семьи. Семья и дом — для Абрамова понятия родственные. Есть семья — есть дом; нет семьи — нет и дома.

А что же осталось от пряслинской семьи? Мать умерла, Федор в тюрьме, Петр и Григорий в городе, Татьяна в Москве. А Михаил с Лизой рассорились, разошлись, как враги. «Нет у меня сестры», — говорит

Михаил. И все после того, как Лиза от постояльца родила близнят. Постоялец исчез, а близнята остались. Лиза, как считает Михаил, навлекла позор на семью.

С грустью смотрит Абрамов на это пепелище. Усилием воли, усилием любви пытается он соединить Пряслиных, собрать семью Вани-силы и возродить дом.

Ставровский дом уже не спасешь, но дом Пряслиных спасти можно. И за это дело берется Петр, решившись остаться в Пекашине.

Известно, что имя Петр означает камень. На этом камне — камне нового поколения Пряслиных — и хочет Абрамов возвести основание Дома.

Но не так-то легко это сделать. То, что разрушалось годами, не восстановить в год. Михаил и Лиза во вражде. Татьяна высоко взлетела, в Москве в хоромах живет. И хоть Лиза и помогла ей выучиться, не признает Лизу. Григорий болен: у него эпилепсия. По доброте он в семье — после Лизы — самый первый. «Просто святой какой-то», глаза, как на иконах, и от него «и в ночи свет».

Абрамов пробует как-то связать Петра Пряслина с Калиной Дунаевым. Но не получается. Слишком далеки эти поколения друг от друга. Калина Дунаев уходит в мир иной, так и не ответив на вопросы Петра.

Ему ближе Михаил и Лиза: Михаил для него, как и для всех Пряслиных, «брат-отец», а Лиза почти что мать. Потому что и в детстве заменяла она им мать (та в поле убивалась, не до них было) и сейчас, по возвращении в Пекашино, — кто отогрел их сердце? Кто примирил Петра с Григорием? Лиза.

Весь роман сдвинут в сторону Лизы Пряслиной — в сторону основополагающего для Абрамова женского начала семьи. Родька Лукашин (сын Анфисы и Лукашина) называет ее «мама Лиза». Она его своей грудью выкормила. Когда арестовали Лукашина, пропало мо-

локо у Анфисы, а у Лизы как раз в это время сын родился. Она и взяла Родьку к себе.

А когда утонула Варвара в Пинеге, кто отписал письмо Михаилу и рассказал о последних словах Варвары? Опять-таки Лиза. А кто за Федора заступился, заставил Петра сочинить бумагу в Москву с просьбой о помиловании брату? Тоже Лиза.

Таборский заставляет Лизу взять телят за болотом. И так полон рот забот, а тут еще и телята? А Таборский говорит: как хочешь, можешь не брать, только телята с утра не поены, не кормлены и подохнут они, потому что некому за ними ходить. И Лиза идет. Да она пойдет на край света, чтоб спасти этих телят.

Две женщины стоят рядом в «Доме» — Лиза Пряслина и Евдокия Дунаева. Одна еще молодая, хотя и потравленная войной и безмужней жизнью, другая — старуха, но с силой, которую не перетерли жернова мук. «Старуха по годам, — пишет о ней Абрамов, — ...а какая баба в Пекашине, ежели хочет, чтобы на нее посмотрели, о празднике рядом с нею станет? Высокая, рослая, румяная... ну а глаза, когда без грозы, — небеса на землю опустились. Только редко, минутами у Евдокии бывает синь небесная в глазах, а то все молоньи, все разряды, как будто внутри у нее постоянно землетрясенье клокочет, вулкан бушует».

Душу ее зажег в 1920 году Калина Дунаев. Ему тридцать два было, ей шестнадцать. Явился в их деревню, «Штаны красные... Как сатана... Жар за версту...».

И пошла за ним. По всей стране за ним таскалась. С малым ребенком, со всем скарбом скудным, из Сталинграда, где тракторный завод строили, к киргизцам в степь, а оттуда, натерпевшись страху (басмачи тем, кто за Советскую власть, головы отрезали), на Маг-

нитку. Поезда, бараки с клопами, столовки, к которым, если б не революционный энтузиазм («сицилизм на уме, и мать, и жена, и еда — побоку»), — подойти нельзя было, кочевье на верблюдах, на лошадях — вот дом Дунаевых за четверть века. А потом переселился Калина Иванович за колючую проволоку. Сын Феликс не поверил, что отец враг народа, сам пошел на фронт, когда война началась, сказал, что сын Дунаева не будет в тылу отсиживаться. А сама Евдокия к тому времени «сортиры выгребала» — на другую работу не брали. А когда погиб сын на фронте, пошла мужа искать. «Всю Расеюшку, всю Сибирь наскрозь прошла-проехала», а нашла. И спасла, вызволила у смерти.

Сам-то Калина Иванович не ангел. Взял ее вдовцом, имея двенадцатилетнюю дочь и престарелых родителей — так, чтоб она и за дочерью и за родителями ходила. А пока она их обихаживала, укатил в город, с «буржуйкой» связался, от которой «едеколоном» пахнет, пропил и свой орден, и партбилет.

Так кто его от этой беды спасал? Та же Евдокия.

«Всю жизнь штанами тряс, ни одной юбки не пропустил», — говорит она о Калине. Но зато когда его товарищей незаконно арестовали, бросился их выручать, доказывать, что они невиновны, да за решетку и угодил.

Евдокия и посмеивается над мужем и безмерно предана ему, предана тем несчастьям и страданиям, которые вынесла с ним. Потому что, как говорит Михаил Пряслин, «ей с Калиной-то Иванычем свет открылся».

Евдокия похожа на ель, что стоит возле избенки Калины Ивановича. Стоит она, может быть, «еще со времен Петра Великого, а может, и того раньше». И сколько пекашинцы ни кромсали ее ствол топором и ножом — «и все зря, все впустую. Не терпело гордое

дерево человеческого насилия. Все порезы, все порубы заливало белой серой».

Абрамов и дивится терпенью Евдокии и не видит в ней покорности. Наперекор судьбе шла. Наперекор обстоятельствам. Не они ее, а она их побеждала. Со своей малой женской силою сбивала с ворот судьбы железный замок.

Как пророчица, как судия возвышается Евдокия-великомученица над пекашинскими мужиками. Стыдит их, когда они от грешной земли к заоблачным высотам возносятся.

«У нас тут интересный разговор идет, — говорит Калина Иванович. — Про жизнь в космосе и на других планетах».

«Во-во! — откликается Евдокия. — Про жизнь в космосе... Очень интересно! А то, что на русской планете делается, — плевать?»

Мужики в «Доме» молчат, лишь изредка обмениваются короткими репликами, даже Калина Дунаев не говорит ничего путного, и словарь его полон штампов («в смысле практическом был допущен недосмотр», «зажечь маяк революции» и т. д.), но речь Евдокии похожа на извержение вулкана — то клокочет река боли народной.

Абрамов называет ее жизнь «житием». Ее жизнь — действительно житие, а сама она великомученица, ибо ее муки причастны истории. История входит в роман Абрамова не через цифры и документы, а через исповедь русской женщины. Он разбрасывает эту исповедь по главам, чередуя воспоминания и явь, гремящую речь Евдокии и мерный ход романа, и от этого роман сотрясается, как от подземных толчков, выбрасывая из себя пламя и камни.

Глаза у Евдокии — синь небесная, а у Лизы Пряслиной — зелень чистая. И смотрится в эти глаза автор

«Дома», как в небо родное и в зелень первую. Именно так светло-зелена, зелено-прозрачна она, как Лизины глаза.

Лизу, идущую по пылающим от солнца пескам берега, Абрамов сравнивает с Магдалиной. «Раскаленный песок и дресва немилосердно жгли босые ноги (тапочки не спасали), душной смоляной волной окатывало сверху, с угора, где рос ельник, глаза резало от воды, от солнца, и она шла этим адищем, как последняя грешница, как пустынножительница Мария Магдалина, о которой, бывало, любила рассказывать покойная Семеновна».

Пусть Лиза грешница, но Абрамов убежден, что нет чистой святости. Святость зарождается на муках, на слезах человеческих. Кто не лил слез, тот не знает и очищения.

Лизин зеленый цвет цепляется за жизнь, обвивает ее, как хмель обвивает дерево. Недаром она назвала своих близнят Надеждой и Михаилом. Она надеется, что пряслинский род продолжится. Что на свете будет еще один Михаил Пряслин. Чью же еще фамилию ему взять?

Роман Абрамова — роман возвращений и роман концов, окончаний, завершившихся жизней. Умирает Калина Дунаев. Гаснет Евдокия. Гибнет Варвара. Тонет в реке сын Лизы и Егорши. Умирают Олена Житова, жена и дочь Ильи Нетесова. Спивается и умирает Евсей Мошкин. Паралич разбивает Подрезова.

И возвращается в Пекашино Егорша Ставров.

Возвращается без былого чуба, лысый, потухший и озлобленный. Куда делся его смех и жизнелюбие? Где шутки, где огонь? — «Худявый, потрепанный мужичонко в капроновой шляпе в частую дырку».

Другой при его данных высоко бы взлетел. Институт бы кончил, или портфель заимел, пост занял.

А Егорша пошел по бабам. По линии, если выражаться его языком, чувства своего, которое, протащив его по всей стране (и на Чукотке, и в Сибири, и в Магадане был), выпотрошило Егоршу без остатка.

Егорша является в Пекашино, чтоб разорить старый ставровский дом. Он давно уже ничего не строит, а только ломает и портит. Такова логика: если не строишь, то ломаешь или разоряешь или тратишь нажитое, убиваешь, умерщвляешь. Как вырубили на Пинеге заповедные леса, заповедный Красный бор, так и Егорша прошелся с топором по человеческим лесам.

И вот стоит он сейчас среди опустошенного бора и плачет. «Не он, не он отдавал приказы сводить пинежские боры, не он засевал берега сегодняшней Пинеги пнями. Но, господи, разве вся его жизнь за последние двадцать лет не те же пни?»

Да, двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы.

В президиуме у жизни не сидел, вкалывал, прочертил след на великих стройках века, но баб и девок перебрал — жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел. И на месте не задерживался: взял, выкосил свое — и вперед, на новые рубежи. И что там осталось позади — слезы, плач, разбитая жизнь, ребенок-сирота — плевать.

Да, Мамаем прошел он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предъявлять счет за пинежские леса?»

Перед тем, как прийти в Красный бор, Егорша навещает Подрезова. Нарочно идет за несколько верст к нему в деревню, чтоб посмотреть и, может быть, вдохновиться этой встречей.

Но Подрезов уже не тот. Подрезова больше нет. На крыльце сидит немой старик с отекшею от паралича фиолетовою рукой. «...Голова острижена, плешь на

голове, голубенькие, небесные глазки, как у блаженного, и все улыбается, все улыбается, как будто он решил задним числом отулыбаться за всю прошлую жизнь».

Подрезов что-то слышит, что-то понимает, даже мычит в ответ, но он далеко от Егорши и от людей. Его жизнь или перенеслась в воспоминания, или ушла в себя, как бы потухла, хотя Подрезов еще жив. Что означает его улыбка? Знак ли она слабости, смирения и сознания какой-то вины? Или это просто покой старости и ее пустоты?

Абрамов не дает на это ответа. Парализовано не только тело Подрезова, парализована и его воля, творившая когда-то чудеса.

Десять лет — с 1962 года — сидит так Подрезов, сидит, как изваяние, как молчащий идол, которому уже никто не отдает поклонов. Последний поклон пришел отдать Егорша. И что же он увидел? Все те же плакаты висят по стенам, а на фоне плакатов — развалина, остаток человека, а не человек. И надорвался Подрезов не на чем-нибудь, а *на доме.* Хотел выстроить для детей дом, ибо сбежали дети из деревни, не захотели в ней жить. И стал строить. И «нарушил себя» на этой стройке. Дом не дался Подрезову. Слишком поздно взялся за него. Поздно протянул руку к матери-избе.

Так и стоит он недостроенный в обезлюдевшей Пиляди. Вместо фундамента — тяжелые валуны, угол выведен по линеечке, но «без крыши, без окон... почерневший за эти десять лет».

И, как с похорон, бежит от этого места Егорша. Бежит, чтоб спасти проданный дом. Но поздно: ставровский дом «разрубили». «Дома не было, — пишет Абрамов. — В синем небе торчала какая-то безобразная уродина со свежими белыми торцами на верхней стороне...»

Что же остается Егорше? Лиза? Но она «далеко от него. Как звезда». Вот и является в конце романа Абрамова этот образ звезды, которая на этот раз сияет не на холодном небе, а в доме, в новом пряслинском доме, в окна которого стыдится и боится заглянуть Егорша. Звезда спускается с неба, чтоб осветить дом. И путнику, прохожему, проезжему, страннику, беглецу, разорителю нет места в дому.

Абрамов не показывает, чем кончает Егорша, но это уже конец. Он подводит своего героя к бывшей Дуниной яме, в которую много лет назад, когда Егорша покинул ее, хотела броситься Лиза. Но и этому приговору Егорши, который тот сам вынес себе — «исчезнуть из Пекашина (да и только ли из Пекашина?)» — не дано свершиться. На месте Дуниной ямы — тухлое болото: «Яму засыпало песком, и вонючая, зеленоватая лужа плесневела там, где когда-то ледяным холодом дышал черный омут».

По пути к Дуниной яме Егорша сворачивает на кладбище и подправляет лопатой могилу Евсея Мошкина. Смерть старика примирила их. Вечно они воевали, вечно Егорша винил старика, что тот слишком высоко поднял глаза в небо, теперь он и сам готов поднять их и покаяться. На том же кладбище поставлена плита и на могиле Лукашина. Под плитой ничего нет — Лукашин похоронен в Сибири, где застала его смерть, но ради памяти воздвигла эту плиту Анфиса. Пусть все же поближе к дому будет Лукашин. И там же где-то пирамидка над прахом Варвары, которую поставил Михаил Пряслин, и железная ограда возле могилы жены и дочери Ильи Нетесова.

Эту железную ограду то и дело подправляет и обновляет Илья-победитель, а его сын Виктор Нетесов, как бы сопротивляясь горю отца, говорит Михаилу Пряслину: «Двенадцать лет отец могилы для матери и для се-

стры устраивает, а я хочу не могилы для своей семьи устраивать, а жизнь». Этот заочный спор с отцом, а может, и с поколением отцов, Виктор Нетесов ведет по всем статьям. Те больше на чувства полагались, на порыв, на совесть, на стыд перед миром, на круговую деревенскую поруку, этот «железный мальчик», как называет его Абрамов, и перед миром не смутится, если надо за себя постоять.

«Виктор Нетесов был парень не из последних, — пишет Абрамов. — Не пил (может, один-единственный в его возрасте во всем Пекашине). Ударник — все годы, как сел за руль, с красной доски не сходит. И жена — учительница».

У Виктора Нетесова правило: делать все вовремя. И делать так, как указано свыше. Приказал агроном землю на полметра плугом выворачивать — он точно следует указанию. Михаил Пряслин, застав его в поле в разгар жаркого летнего дня, кричит: «Ты это землю пашешь, але каменоломню из поля устраиваешь? Глину наверх вывернул на полметра, да ее не то что ростку — мужику ломом не пробить!»

А Виктор, спокойно поглядывая на Михаила, отвечает ему: «Я приказ выполняю, так что не по тому адресу критика».

Михаил ему про отца, про Илью Нетесова, который «за общее дело убивался», а Нетесов в ответ: «Отец-то за общее дело убивался, да заодно и матерь и сестру убил!»

Разговор короткий, но разговор важный. Пока Нетесов землю пашет, как ему агроном приказал, а стало быть, и стоящий за агрономом Таборский, в области уже письмо лежит, которое они «с Соней-агрономшей накатали» — о «явном неблагополучии» с пекашинской экономикой.

«Понятно, понятно, Витя, — говорит ему, узнав об

этом спустя некоторое время, Михаил.—Ну и жук же ты колорадский! Все продумал, все учел, голыми руками тебя не возьмешь».

Виктор Нетесов в конце концов устраняет Таборского. Устраняет в прямом смысле, ибо занимает его место. По письму Нетесова приезжает ревизия, и Таборского снимают с работы.

И не подозревал Таборский, что гром падет на него отсюда — скорей, со стороны Пряслина можно было ожидать неприятностей.

Так действует «железный мальчик». Радуется этому Абрамов или нет? Кто для него Виктор Нетесов — человек, который наведет в Пекашине порядок, или, выражаясь словами Михаила, «колорадский жук»? Он для Абрамова неизбежность. Неизбежно после развала должна явиться твердая рука. Должны обнаружить себя железные нервы.

«Виктор Нетесов, — говорил Абрамов, — одна из разновидностей делового человека. Но для меня эта фигура в романе не главная, эпизодическая даже. *Он не развернут* (подчеркнуто мной. — *И. З.*). И, конечно, далеко не идеален. Но в противовес разболтанности и анархии такой человек то тут, то там заявляет о себе».

Даже язык у Виктора Нетесова не тот, что у его отца или у Михаила Пряслина. Шпарит он «ученым языком»: «мы проанализировали наиболее важные показатели... и пришли к выводу». И эти слова он не с трибуны говорит, а в личном разговоре с Михаилом. Когда сидят они вдвоем во дворе у Нетесова и никого нет поблизости.

Во дворе, в огороде у Виктора порядок. Всюду — до бани, до хлева, до сарая — деревянные мостки проложены, чтоб не тащить в дом грязь, на усадьбе — ягодник. «Не каждое лето в лесу родится ягода... а у Виктора Нетесова до сих пор еще малина краснеет в огоро-

де, а черной смородины столько навалило, что кусты ломятся».

Как и в своем приусадебном участке, где он все расчертил и каждому клочку земли отвел нагрузку, так и в устранении Таборского он действовал по плану. «Машина», «немец» — зовут его в Пекашине. «Машина-человек. На работу ни на минуту не опоздает, но и на работе лишней минуты не задержится».

Что его породило? Техника? НТР? И техника, и НТР. А главное, разор и развал пекашинского дома. Сколько можно было мужикам заседать у Петра Житова в кафе «Улыбка»? Сколько можно было зря мучить землю и доить государство? Кто-то обязан был этому положить конец. Кто-то должен был прийти и, указывая на часы, сказать: время «отпуска» вышло.

«...Виктор первым делом взглянул на часы.

— Без двадцати два,—объявил деловито. То есть учти: разговаривать с тобой могу не больше десяти минут.

— Ясненько, — без всякой обиды сказал Михаил.

А чего обижаться? Да надо бога молить, что такой человек в Пекашине завелся. Ведь нынешние работяги что за народ? Утром иной раз на разводе заведутся, начнут анекдоты травить — про всякую работу забыли. А Виктор Нетесов без десяти девять, хоть земля под ним провались, заведет свой трактор. А раз один завел, что же остается делать другим?»

Несмотря на разницу в словаре, Михаил Пряслин и Нетесов находят общий язык. Потому что у времени обратного хода нет. Нет хода в Пекашино довоенное, ни в Пекашино пятидесятых и шестидесятых годов. Есть только ход вперед. И тут такие люди, как Пряслин и Нетесов, должны понять друг друга.

Виктору Нетесову без Пряслина не обойтись, но и Пряслину нужен Виктор Нетесов.

Перед смертью Евсей Мошкин говорит Егорше Ставрову:

«— А главный-то дом знаешь у Михаила где?.. Нет, нет, не на угоре.

— Чего? Какой еще главный?..

— Вот то-то и оно, что какой. Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов.

— Я так и знал, что ты свой поповский туман на меня нагонять будешь.

— Нет, Егорушко, это не туман. Без души человек яко скот и даже хуже...

— Яко, яко... Ты, поди, целые хоромы себе отгрохал, раз Мишка — дом? Так?

— Нет, Егорий, не отгрохал. Я себя пропил, я себя в вине утопил. Нет, нет, я никто. Я бросовый человек. Не на мне земля держится.

— А на Мишке держится?

— Держится, держится, — убежденно сказал Евсей. — И на Михаиле держится, и на Лизавете держится».

Идеал Федора Абрамова заключен в труде. Вот почему, когда на сенокос является Лиза, кажется, что «сама удаль спустилась на луг». Вот почему, когда Михаил Пряслин берет в руки косу, она у него поет, и сердце его забывает обо всем, оглушенное работой. «А вот сейчас благодать, — думает Михаил на сенокосе. — Пусто и ясно в голове, как в безоблачном небе. Все вымело, все вычистило работой. И даже то, что он косил сегодня на тех запущенных полях в навинах, о которых еще вчера кипел и разорялся, — даже об этих полях он ни разу за день не подумал.

Эх, болван, болван! — говорил себе Михаил с издевкой, как бы со стороны. Наишачился, начертоломился

досыта — и рад. Немного же, оказывается, тебе надо. Ну да удивляться тут нечему. Всю жизнь от тебя требовали рук. Рук, которые умеют пахать, косить, рубить лес, — так с чего же тебе голова-то в радость будет?»

«Голова» от «рук» неотделима. Для Абрамова «голова», которая далеко отстает от «рук», не голова, не ум. Только когда руки в работе, и голове дается право думать, решать, взвешивать. Их дело быть в движении вместе, а если руки отрываются от головы — это плохо.

Сколько в его романах сенокосов, пьянящих сцен труда, когда человек весь захвачен делом, упоен, растворен в безоглядном счастье сотворения зарода, дома, саней для тройки, короба для грибов! Над каждым таким мигом, над каждой минуткой вспыхивает алмаз света, алмаз негасимого ликования Абрамова.

Вспоминается сцена косьбы в «Братьях и сестрах». Голодное время, сил нет в руках, а все забывается, когда оказывается в руках коса и белое лезвие ее снимает первый пласт травы. «Марфа шагнула к траве и, выпрямившись во весь свой богатырский рост, коротко бросила:

— Становись.

Рядом с ней Анфиса показалась Лукашину подростком.

Какую-то секунду все стояли в ожидании, не дыша. И вдруг в воздухе со свистом сверкнуло лезвие Марфиной косы...

Анфиса вся подобралась, отвела в сторону косу и, приседая, сделала первый взмах.

Некоторое время они шли вплотную. Потом Марфа обернулась, смерила Анфису презрительным взглядом — и пошла, пошла отмерять сажени.

...Тело Анфисы выгибалось дугой. Лукашин, волнуясь, заметил, как темными кругами стала мокнуть

рубаха на ее спине. На минуту ей опять удалось приблизиться к Марфе. И опять Марфа, как палашом, взметнув косою, ушла вперед.

...И вот уже Анфиса кричит:

— Пятки, пятки убирай!

...К Марфе нельзя было подступиться. Зажав косье меж колен, она с яростью била бруском по полотну — искры сыпались вокруг, как в кузнице. Потом рывком выпрямилась и кинулась догонять Анфису.

Гул и ветер пошел по пожне. Под розовой рубахой, как жернова, заходили полукружья лопаток.

— Стопчу! — загремела она, с каждой секундой приближаясь к Анфисе.

...Анфису словно хлестнули кнутом... Взмахивая косой, она отводила назад свое небольшое тело, потом, приседая, как бы падала вперед и снова приподнималась.

...Она выбивалась из последних сил. Теперь она уже не шла, а просто *стлалась над травой*. Белый платок сполз с ее головы и, зацепившись, видно, за лямки сарафана, развевался сзади как флаг. Разъяренная Марфа грозной тучей нависала над нею. Еще секунда — и Марфа отшвырнет ее в сторону вместе с травою. Но тут прокос кончился...»

А сплав, а выезды на сенокосы — когда у всей деревни праздник? А работы на навинах? А тушение лесного пожара?

Вообще, как только герои Абрамова берутся за косу, за топор, за вилы, они не знают удержу. Они трудятся до обессиливания мышц и высокого звона сердца. За каким-то порогом тяжесть труда спадает и начинается творчество, разгул чувств, веселье духа. А потом настает покой.

Способен ли на такой труд Виктор Нетесов? Расставаясь с Нетесовым, Михаил Пряслин «нежно, с лю-

бовью» смотрит на него. Ему жаль будет разочароваться в Нетесове.

«Железные мальчики», «железные малыши». «Железными малышами» назвал таких людей, как Нетесов, Юрий Трифонов. У него была своя модификация «железного мальчика» — модификация городская. Это совпадение в характеристике нового поколения у двух писателей симптоматично. Они почти в одно время — и почти одинаково — почувствовали, что затянувшийся исторический романтизм привел нас к реализму. Что то, что начал Калина Дунаев (а у Трифонова его «старики»), неминуемо должно упереться в этот реализм.

Нетесов посылает Михаила Пряслина на конюшню. Он дает ему самую черную и самую непочетную по современным пекашинским понятиям работу. Но герой Абрамова не отказывается. У него нет стыда перед каким-либо трудом. Для него всякая работа жизнь, а безделье — смерть.

В романе «Дом» они договариваются, но смогут ли договориться и дальше? Сможет ли «двуногая машина» Нетесов, делая все по часам, остаться в душе крестьянином, для которого земля не «объект», как он говорит о своих мастерских, а мать-кормилица?

«— Как вам представляется будущее деревни и русского крестьянина?» — спросили Абрамова на встрече в Останкине.

«...у деревни два пути...—ответил Абрамов.—Первое решение — деревня кончается, деревня исчезает с лица земли... Взамен — агрогорода, агрокомплексы. Короче говоря, промышленное сельскохозяйственное производство, полная, полнейшая механизация, без всяких сантиментов...

А второй путь... заключается в том, чтобы деревню сохранить. Конечно, с введением, так сказать, всех благ цивилизации... Деревня русская — это ландшафты, наша

Родина и прародина всего. Дело в том, что... утрата связей человека с животным, с землей, с природой... может обернуться очень серьезными последствиями... Они могут обернуться очень серьезной стороной для человеческой природы. Потому что земля, животное, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность... Исчезнут эти отношения любви, доброты и... повторяю, неизвестно, чем это кончится. Не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не поведет ли к каким-то очень серьезным и непредвиденным изменениям национального характера?»

Так говорил Абрамов по телевидению. В романе он решил предложить не решение, а «железного мальчика» Нетесова. Как некогда И. С. Тургенев предлагал русскому обществу «нигилистов», давая возможность посмотреть на них со всех сторон, так и Абрамов предложил нам нового претендента на роль хозяина в деревне — технаря.

Он и технарь, и прагматик, и реалист. Он не Евгений Базаров, который только лягушек резал, а все остальное у него было впереди. Нетесов взваливает на себя Пекашино. Этот герой не химера, не блажь Абрамова, и не «единственная альтернатива» Таборскому, как писал один критик. Он — пробный вариант реализма, который надо еще испытать на крепость.

Роман Федора Абрамова — призыв к «братьям и сестрам» вновь собраться под крышей дома. В войну у народа был внешний враг, теперь врага надо изгонять из собственных стен. Много раз в «Доме» повторяется фраза «братья и сестры». Она имеет отношение к семье Пряслиных и ко всему Пекашину. «Нет, нет, — говорил себе Петр (речь идет о судьбе дома Ставровых,—*И. З.*), —без вмешательства властей не обойтись.

А иначе все они перегрызутся. Все: и братья, и сестры, и деревня вся...»

Кто поможет пекашинцам и Пряслиным помириться? Они сами или начальство? Кто решит, как им дальше жить?

Для Абрамова это коренной вопрос, вопрос вопросов, к которому он подошел на исходе семидесятых годов. «Дом» должен был стать ответом на этот вопрос. В «Доме» были произнесены столь важные для Федора Абрамова слова, которые он сам повторит потом в «Письме землякам»: «сами колоды лежачие».

Бросая взгляд на пятистенок Михаила Пряслина, на его достаток и на его детей (разве что Вера в отца пошла, а Лариса — типичный «продукт эпохи»), Абрамов со смущением видит, что и у его любимого героя не все в дому ладно. И, прежде всего, в душевном дому, который стоял до сих пор как скала.

Во-первых, Лиза. Во-вторых, братья. В-третьих, дети. Мучается он, ссорится с женой, с Ларисой, с Таборским, с братьями, с Анфисой Мининой. Он в разладе с самим собой. И кажется, нет для Михаила выхода, кажется, не сверкнет больше в его душе молния и не осветит души, прочистив ее, как грозовой дождь.

Конец романа, впрочем, приносит такую грозу. Деревянный конь-охлупень, который стоял над козырьком крыши ставровского дома — единственное, что осталось от избы Степана Андреяновича. Его-то и пытаются водрузить на верх отстроенной пряслинской развалюхи Петр, Лиза и Филя-Петух. И конь этот срывается с высоты и калечит Лизу. Ее — может быть, без надежды, что она выживет, — увозят в район.

И как молния ударяет эта весть по Мишкиному сердцу. Должно было случиться несчастье, чтоб он, наконец, повернулся к сестре. Чтоб понял, как он был неправ, осуждая ее.

Не дождавшись попутки, бежит Михаил по знакомой дороге в район. По той самой, по которой ушел на фронт его отец, по которой — в проливной осенний дождь — ушла когда-то его мать, надеясь получить известие об отце. Ничего не приносила эта дорога Пряслиным, кроме плохого. За добром по ней не ездили, не ходили. Только за горем да и за бедой.

И в этот раз случилось так.

«...Была осенняя кромешная темень, был нудный осенний дождь, и было еще отважное и отзывчивое сердце четырнадцатилетнего мальчишки. И он шагал впереди матери, чтобы проложить ей в темноте дорогу, чтобы всю сырость с сосновых лап принять на себя...

Так было в сорок втором году, когда он провожал мать в район по вызову военкомата.

А сейчас? Что стало с ним сейчас?»

И как бы услышав этот вопрос Михаила, «ослепительная каленая молния прочертила черную просеку дороги впереди. Потом где-то в стороне тяжко грохнуло и покатилось, и покатилось в сузем.

Шла запоздалая осенняя гроза, и Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ: «Сынок, ты понял меня? Понял?»

Тридцать лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал в тот день, когда уходил на войну, и тридцать лет он ломал голову над ними, а вот теперь он их, кажется, понял...». Что сказал Михаилу отец? Что высказал он, не высказав этого в словах, а стараясь передать все сыну интонацией и взглядом?

Береги дом, семью, не дай их в обиду. Не обидь сам. А если тебя обидят или не поймут, пересиль непонимание, подави обиду и защити, прикрой, помоги.

Свет молнии, как вспышка прозрения, падает в сердце Михаила. Падает он и в сердце народа.

Здесь, в этом сердце, и «альтернатива» Абрамова, Ему, этому сердцу, все и решать.

III. Пути-перепутья

В романе «Пути-перепутья» Анфиса, вспоминая свой разговор с Варварой Иняхиной, так и не простившей ей, что она развела их с Михаилом, спрашивает себя с тоской: «Ну почему, почему мы сами-то себя топчем, поедом едим? Почему мы сами-то не даем друг другу жить?»

Это «сами» грозно нарастает к концу тетралогии «Братья и сестры».

Взять ту же историю Пекашина. Сколько в нем перебывало председателей? Лихачев, Анфиса, Першин, Лукашин. Наконец, Таборский. Колхоз (а затем совхоз) все шел и шел под гору. Председателей снимали, меняли и секретарей райкомов, но где, спрашивает между строк Абрамов, были вы сами, колхозники? Что делали? Только терпели да робили? Или терпели и не робили?

В очерке «Вокруг да около» Ананий Егорович, как уже было сказано, тринадцатый после войны председатель в Богатке. Роковое число. И Богатка и председатель дошли, кажется, до точки. Если они не поймут друг друга, не сговорятся, и Богатке, и председателю, и самому колхозу конец.

В этом очерке Федор Абрамов спрашивает как с председателя, так и с народа. С одной стороны у него председатель и райком с его требованиями немедленно переводить всех на силос, с другой — сопротивление

Богатки, которая не только на силос не хочет выходить, но и вообще на работу идти.

Упреки очерка обращены в два адреса: в адрес начальства и в адрес народа.

Народная мудрость на этот счет гласит: «Не нами началось, не нами и кончится», «Не наше дело, что пора звонить приспела; есть на то пономарь». Но есть и другая пословица: «Собором и черта поборем».

Писательство Федора Абрамова не раз сравнивали с колоколом. Ю. Андреев, например, в статье о «Доме» писал: «Писатель бросается к мирскому набату — литературе и, учащая удары, бьет в него что есть силы. Но вот вопрос: собрав по набату народ — многомиллионную читательскую аудиторию — что же предлагает ей Ф. Абрамов?»

Критик был недоволен тем, что Абрамов не видит «дня завтрашнего», не хочет «вглядеться в близких ему по духу людей, в деятельности которых, в гордом чувстве хозяина своей страны — как у Михаила Пряслина когда-то — как раз и лежит залог наших и прошлых и будущих достижений, красота нашего общего дома».

Абрамову это было не в новость. Еще со времен появления статьи «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе» он выслушивал упреки в слепоте по отношению к нашим достижениям. Иные называли это «размашистостью» (что еще весьма безобидно), другие — отступлением от социалистического реализма. Когда был напечатан очерк «Вокруг да около», автор его был записан в «туристы», говорилось, что он, как «заморские туристы», роется в куче «нашего мусора».

Были обвинения и похлеще. Агроном колхоза имени XVIII партсъезда Гатчинского района Ленинградской области В. Колесов в газете «Советская Россия» 13 апреля 1963 года писал: «Символичны 30 процентов... Нетрудно догадаться, что в эти 30 процентов автор

намеревается уложить общественное сознание колхозника, обречь его на былую кулацкую третейщину».

Это был «голос народа».

Но еще громче этот голос прозвучал в «Открытом письме односельчан писателю Ф. Абрамову», опубликованном в «Правде Севера» 11 июня 1963 года. Письмо называлось «Куда зовешь нас, земляк?». Заголовок этот был прямым откликом на статью В. Колесова. «Где же ты, инженер человеческих душ, на каких задворках выискал такое село, в жизни которого, как в нарисованном тобой пейзаже, нет ни единого просвета? Куда же ты зовешь колхозников?» — писал Колесов.

Земляки Абрамова — жители Верколы, в отличие от агронома из-под Ленинграда, признавали, что такое село есть. Они даже признавали факт выдачи колхозникам тридцати процентов сена, имевший место «однажды поздней осенью», правда, добавляя при этом, что то была мера временная и вынужденная. И что их колхоз отстающий, и что все в очерке списано с этого колхоза, признавали тоже.

В 1984 году в Верколе я разговаривал с одним из авторов письма, точнее, с одним из тех, кто подписал это письмо. Не стану называть фамилии, скажу только, что это была женщина. И она плакала при мне, вспоминая тот случай. Письмо привезли в Верколу из района. Собрали людей, сказали: подпишите. «Но мы не читали очерка», — пытался кто-то возразить. — «Подписывайте» — был ответ.

И — подписали. Всего, как сказано в «Письме», была поставлена 21 подпись.

Есть смысл прочитать «Письмо земляков». Виня автора в создании «неприглядной картины», письмо само рисует такую картину — может быть, еще более неприглядную, чем в очерке. Авторы «Письма» говорят о достижениях колхоза. И как же они выглядят?

«В 1954 году на трудодень выдавали 6,4 копейки, а в 1962 году — 55 копеек». В «Письме» сообщается, что «наш маяк» — Лидия Семеновна Рогалева, надоив 2448 кг молока и превысив тем самым колхозный показатель на тысячу литров, заработала 944 трудодня. Цифра, кажется, весомая. Но сколько получается в пересчете на стоимость трудодня? 43 рубля 36 копеек в месяц.

Что же толковать о рядовых колхозниках, так сказать, «не маяках», которые выработали этих трудодней в два-три раза меньше? Что они получили за свою работу?

«Даже в нашем экономически слабом хозяйстве шесть престарелых колхозников получают пенсии, — говорится в «Письме», — ... каждый добросовестный колхозник имеет право получать трудовой отпуск на 12 рабочих дней или компенсацию за него».

Но разве не о ничтожности таких «достижений» написан очерк Абрамова? Разве не вопиет он о том, что дальше так жить нельзя?

Получается, что по *фактам* Абрамов прав, а вот *выводы* он из этих фактов делает неправильные. Упомянутые выше «30 процентов» трактуются в «Письме» если не как кулацкая выходка, то, по крайней мере, как «сомнение в правильности колхозного строя». При этом составители «Письма» идут на прямой подлог, отрицая имевшие место на Пинежье случаи, когда перед выборами проводилось авансирование колхозников, чтоб без сучка без задоринки провести избирательную кампанию. «Из советских людей Вам, конечно, никто не поверит, — писали они. — Но недруги наши, враги социалистического строя, постараются выдать это за истину. «Вот что, мол, делается в СССР... Там без денег даже не голосуют».

Предлагая путь «личного обогащения», Федор Абра-

мов, по словам «Письма», звал деревню не туда. «НЕ ТУДА ЗОВЕТЕ НАС, ЗЕМЛЯК», — предупреждали его.

Больнее всего для Абрамова было то, что под «Письмом» стояли подписи его земляков. Абрамов понимал, что «Письмо» было составлено не в Верколе, что писали его не земляки. Но подписали-то его они. И фамилии, стоящие под «Письмом», были дорогие для него фамилии.

Надо знать Федора Абрамова, чтоб понять его чувства по отношению к этому «Письму». Не было для него ничего важнее, ничего существеннее, чем суждения и суд земляков. Любой свой поступок, любую написанную им строку он сверял по Верколе. Как примут, как поймут и поймут ли? Одобрят или не одобрят? Промолчат, выскажутся? Поздороваются ли при встрече радушно или отведут глаза? Ведь этот суд был не за морями, не за горами. Приезжая летом в Верколу и останавливаясь в семье старшего брата (тогда у него своего дома еще не было), Абрамов всякий раз, выходя на улицу, ждал этого суда.

А потом, когда построил дом и обнес его невысоким штакетником, за которым всем было видно, что делается на дворе у Абрамова, и подавно подставил свою жизнь тысяче глаз.

Он от людей не прятался, на даче за высоким забором не отсиживался. По улице идет — обязательно к знакомому завернет. А знакомых — вся деревня. И что скажут о нем, как подумают — это для него великая подмога. Или, наоборот, огорченье.

Зависел, очень зависел он от Верколы. Он даже жену свою просил одевать лучшие платья, когда ехали в Верколу. Она сопротивлялась, говорила, что в Ленинграде их не надевает, а он сердился: «Веркола важнее!»

В нем жил завет деревенского человека: «мир» превыше всего. «Мир» — это совесть, обет и святыня.

Посвящая «Вокруг да около» памяти брата Михаила, «рядового колхозника», он посвящал его и Верколе. Он надеялся помочь ей, поддержать ее, но услышал слова осуждения.

Сюжет с «Письмом земляков» напоминает историю, описанную Абрамовым в «Сказании о великом коммунаре». Герой ее Сила Иванович спас свою деревню от полярных ветров. Осушил целое болото. И теперь, когда ударит августовский заморозок или утренник, всюду в округе и хлеба полегают, и картошка, в Шавогорье же «ячмень стоит колос к колосу... картофельные гряды сочно зеленеют под солнцем, а за картофельными грядами и вообще летняя сказка — рожь волнами».

Сорок лет делал человек свое дело. Сорок лет выходил с лопатой и шагал один в сторону болота. Сначала ему брат помогал, но потом зачах, помер.

Даже в воскресенье, не заходя в церковь, «весь в заплатах», босиком или в лаптях берестяных шел он отстаивать свою службу. Рыть канавы и спускать воду. Было это еще до революции. «Батюшко, бывало, все стращал: прокляну тебя, еретика. А ему и дела мало: я, говорит, лопатой крещусь каждый день с утра до вечера. Вот моя молитва богу».

Сорок лет — большой срок. Случились революция и гражданская война. Так и в гражданскую Сила Иванович продолжал делать свое дело. «Люди пашут, сеют, воюют, а он одно знает—войну с болотом. В гражданскую, сказывают, тут, в Шавогорье, страсть что было. Один конец деревни у белых, другой у красных. А он— знать ничего не хочу. В одну руку лопату, в другую батог — старый уж был, прямо ветром шатало, — да на свое болото. Дак, понимаешь, что было? Бои стихали меж красными и белыми. Ждали, когда старик полем пройдет».

Не для себя старался человек, для других. Но мир

крестьянский его не принимал. «Ну а русский мир, сам знаешь, какой. Бульдозером не своротишь». Как его только не называли! И леший, и колдун, и чокнутый. «Ему земляки на болото напрямик не разрешали ходить. Умолял на каждом сходе, упрашивал: разрешите через поля и даже не через поля, а через полевые межи тропку протоптать — в два раза короче у меня будет дорога. Не разрешили. Так до самой смерти и шастал в обход». Но мало того, что не разрешили напрямик ходить, еще и «палкой и камнем в него».

А когда умер Сила Иванович (гражданская уже кончилась), хоронили его со знаменами и в красном гробу. Как «великого коммунара». А умер он не в дому (дом его пустой стоял — ему даже жениться некогда было), а на болоте. Среди своих «окопов» — канав.

«Господи, — восклицает в рассказе Абрамов, — до чего же жестоки, до чего неблагодарны бывают те, ради которых сжигают себя!»

Написано это в 1979 году, но боль от раны, нанесенной ему «Письмом земляков», еще слышна в этих словах.

В веркольской библиотеке, листая альбом с вырезками из газет, печатавших статьи об Абрамове, я нашел такое — написанное от руки — послесловие к повести «Вокруг да около»: «В 1963 году в журнале «Нева» была опубликована повесть Ф. Абрамова «Вокруг да около». Жители Верколы, прочитав ее, написали открытое письмо писателю, которое публиковалось в «Правде Севера» 11 июня 1963 года. Повесть «Вокруг да около» отличается чрезвычайной остротой и злободневностью содержания. В ней смело выявлялись многие неполадки в колхозном строительстве 60-х годов и раскрывались их причины. И, как показали последующие решения партии по вопросам сельского хо-

зяйства, это произведение Ф. Абрамова оказалось предвидением. Оно опередило время».

Читая эту примечательную сноску, я вспомнил, что писал по поводу «Вокруг да около» редактор «Пинежской правды» В. Земцовский. Его статья в «Правде Севера» от 20 октября 1963 года была отчетом с читательской конференции, организованной в Карпогорах. На конференции вместе с очерком Абрамова обсуждалась книга одного журналиста. Журналист, писавший о Пинежье, на конференцию явился, а «от Абрамова, — как писал автор статьи, — не могли дождаться ответа».

Совершенно очевидно, что конференция была специально построена так, чтоб свести лицом к лицу два примера: пример очернительства (Абрамов) и пример «правды жизни» (журналист). Очерк Абрамова осудили, как «глумящийся над действительностью», книгу журналиста просили переиздать, объявив автору «общественную благодарность».

«Издевательство, глумление над совестью, над чувствами советских людей», Ф. Абрамов смотрит «издалека, чтобы злорадно посмеяться»; «смакует недостатки», «не видит громадной организаторской работы партии», — вот некоторые слова из этого отчета. Но мы не стали бы останавливаться на нем, если б не один факт. На конференции — вопреки всеобщему единому мнению — один человек выступил в защиту Абрамова. Им оказалась учительница Карпогорской средней школы Н. К. Орешникова. Она сказала: «А почему мы охаиваем писателя за то, что он показал только отрицательных героев, только теневые стороны?»

Судя по отчету, голос учительницы прозвучал одиноко. «Все выступавшие, — как сообщает газета, — не согласились с Н. К. Орешниковой». Но как бы там ни было, этот голос прозвучал, это несогласие с по-

давляющим большинством голосов было высказано.

Такое случается редко. Но такое случается в жизни. Даже посреди всеобщего молчания найдется один непокорный, который вдруг встанет и скажет. Который, следуя закону совести, *не промолчит.*

Именно рассчитывая на это, обратился Федор Абрамов в 1979 году к своим землякам-веркольцам с открытым письмом. Письмо это было напечатано 18 августа в пинежской районной газете «Пинежская правда» и называлось «Чем живем-кормимся».

Мне с трудом удалось достать эту газету. Зачитана, замаслена она была: видно, держало ее много рук. Сбоку газетных строк карандашные пометки, восклицательные знаки. Девочка из веркольской библиотеки, выдавая мне эту реликвию, с тревогой смотрела на меня: не затеряю ли?

Абрамов рассказывал, что он не сразу решился написать это письмо. Что мучили его сомнения. Кто он такой, чтоб учить народ? Да и ко времени ли это? Писатель не судья народу, но кто же, кроме него, скажет народу правду?

Шестнадцать лет назад, когда земляки обратились к нему с письмом, он не смог бы написать такой ответ. Это был ответ и не ответ, хотя Абрамов в начале письма упоминал обращение к нему земляков через газету: «Немало в том письме было запальчивости и несправедливых упреков, *но не об этом сейчас речь*».

Его письмо было «не об этом». Да и о том, что было когда-то, шестнадцать лет назад, смешно было писать. «Ныне мои писания тех лет, — признавался Абрамов, — кажутся робкими и даже наивными. О чем мечтали тогда мои герои? О том, чтобы получить 30 процентов от заготовленного ими сена. 30 процентов! Да неужели были времена, когда эти 30 процентов казались чуть ли не пределом мечтаний?»

И напоминал самому себе: «Были. Все было».

Письмо Абрамова землякам не могло бы явиться, если б время и литература сами не подвели к необходимости такого разговора с народом. Все эти годы, исследуя прошлое и подвигаясь к настоящему, Федор Абрамов как бы освобождался от иллюзий. Он развенчивал и разрушал иллюзии тридцатых и сороковых годов, но внушал новые, которые затем в его романах и повестях вновь подвергались переоценке. К концу семидесятых годов лимит иллюзий, которыми питалась его проза, был исчерпан. Уровень критики и отыскания причин положения деревни, кажется, был поднят на высшую отметку.

Надо было поднимать еще выше.

Приведу документ, который мне удалось прочитать в Верколе. Это «Протокол № 15 сессии Веркольского сельского Совета народных депутатов 16 созыва от 24 августа 1979 года». Из общего числа депутатов (25) присутствовало 20. Были и приглашенные. Среди них заместитель председателя Пинежского райисполкома, редактор районной газеты, директор совхоза, главный врач Карпогорской РПБ, заведующий сельскохозяйственным отделом газеты «Правда Севера» и «писатель, лауреат Государственной премии Ф. А. Абрамов».

Повестка дня: обсуждение «Открытого письма Ф. Абрамова землякам «Чем живем-кормимся», напечатанного в «Пинежской правде» 18 августа 1979 года.

«Слушали...

Выступили: Клопова Е. В., зав. сельской библиотекой, Степанов В. В., завуч Веркольской восьмилетней школы, Нехорошков Ф. М., тракторист, Серебрянников А. И., тракторист, Белоусова Л. И., зав. детским садом, Шкурко Ю. Ф., директор совхоза...»

Что же сказали?

Е. В. Клопова: «Сессия должна встревожить всех...

и сделать поворот в веркольской жизни», В. В. Степанов: «Многие родители пьют, дети это видят». Ф. М. Нехорошков: «И депутаты приходят на партсобрания в нетрезвом состоянии». А. И. Серебрянников: «Совершенно справедливо, правильно Ф. А. Абрамов обратился к нам с письмом. Мы должны научиться жить правильно и как можно скорее». Л. И. Белоусова: «Все мы погрязли, как в топком болоте... Из такой вот «привычной веркольской жизни» вылезать надо». Ю. Ф. Шкурко: «За шестнадцать лет изменилось очень мало».

Сравнивая Верколу 1963 года с Верколой 1979 года, Абрамов писал, что Веркола переменилась. Но тут же спрашивал: «За счет чего эти отрадные перемены? За счет надоев, привесов, урожаев?

Увы, нет. Увы, за счет государства. За счет все возрастающих государственных вложений и дотаций, которые по совхозу достигают почти двух миллионов рублей».

Государство вкладывает в совхоз деньги, а пахотные земли уменьшились, поголовье скота сократилось. Высший надой на корову 2254 килограмма молока, тогда как «в маленькой Финляндии... буренку, дающую молока меньше 5000 литров, вообще не держат».

Всего касался Абрамов в своем письме — и сенокоса (Веркола тонет в траве, а по весне солому с Кубани завозят — голодает скот), и сбережения молодняка («телята ежегодно гибнут»), и выхода на работу (шесть самых крепких мужиков укатили *в июле* в отпуск), и траты рабочего времени, и начисления зарплаты, и клуба, и состояния веркольских улиц, засорения леса, обезображения реки, лугов (давят их тракторами), и народных традиций, и пьянства, и молодежи («нынешние акселераты... давят подушку до 11 часов дня»), и пенсионеров, и учителей.

«Так в чем же дело, дорогие земляки? — писал Абрамов. — Почему чахнет общественное хозяйство в Верколе? С кого спрос в первую очередь?»

По логике вещей ответ на этот вопрос должен был бы быть один: виновато начальство, плохое руководство, «верх». Абрамов признал и это. Но это «азбучная истина», говорил он. Эту «азбучную истину» он высказал еще шестнадцать лет назад и с тех пор неустанно высказывал — за что ему досталось тогда (и доставалось потом). «Ну, а вы *сами*, дорогие земляки? — писал Абрамов в своем «Письме». — Чувствуете ли вы ответственность за запущенное хозяйство? Всегда ли выполняете свои обязанности? Всегда ли оправдываете трудом высокую зарплату, льготы северянам? Не превращаетесь ли — вольно или невольно — в нахлебников у государства?» И вновь: «А сами-то люди — их отношение к работе, к земле, к хозяйству, даже к самим себе?»

Акцент абрамовского послания землякам был поставлен на слове «сами». Ведь не кто-то, а сами веркольцы дают помирать телятам в душных телятниках, сами окрестили их «смертниками», а смрадный телятник «концлагерем». Сами не выходят на сенокос, пьют водку в рабочее время, сами уходят в отпуск в разгар страды, сами не выкашивают луга, сами забросили «дальние угодья по лесным речкам», сами, наконец, и себе зарплату начисляют «со слов работающего», и сами подвирают в цифрах, когда хотят, чтоб эта зарплата была побольше.

«Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства,

которое сегодня воистину стало национальным бедствием?»

Слова о пьянстве, как о национальном бедствии, были впервые произнесены в этом «Открытом письме» Ф. Абрамова.

Еще об этом робко помалкивали, списывали все на частности, на «отдельные явления», имеющие, так сказать, место в нашей здоровой среде, а Абрамов прямо сказал: «национальное бедствие». И упрек за это обратил к самому мужику. «А сами-то мужики? — в который раз повторял он. — У них-то совесть есть?»

И этот вопрос, обращенный только к веркольцам, перерастал в вопрос, обращенный ко всем: «Не обмелела ли река народной совести, народной нравственности?»

Протокол сессии Веркольского сельского Совета лишь отчасти говорит о том, как откликнулись на «Письмо» Ф. Абрамова земляки. Сам Абрамов позже об этом рассказывал так: «Представьте себе, выходит газета, я ни жив ни мертв, и ко мне является депутация старух: «Спасибо, Федор Александрович. Давно знаем, что вы писатель, а вот что настоящий писатель, узнали только сегодня». Короче говоря, жизнь взбурлила просто. По всему району — сельские сходы, везде обсуждают, потому что есть же честные люди и немало их, надоел беспорядок, надоела безалаберщина, ведь от нас многое зависит. У нас все в деревне закрутилось... С риском в клуб попадали. Крыльцо отремонтировали. Школа, как сарай, была без вывески — вывеску наколотили. За два месяца ясли построили... Телята дохли на телятнике — построили новый телятник и еще много, много... Письмо, конечно, подхватили. Но некоторым товарищам показалось, что у нас и так инициативы хоть

через край, нечего о развитии инициативы народной беспокоиться».

Странно, народ на «Письмо» не обиделся, а начальство обиделось. В районе это письмо поощрили, а в области замолчали.

Обиделись и писатели. Среди близких — и любимых им — писателей-крестьян, писателей, пишущих о деревне, немного нашлось у него союзников. Осуждали: ты выступаешь против народа, виновато начальство, а не народ.

Абрамов им доказывал: я о начальстве не меньше вашего писал, я в эту точку столько лет долблю, ну, а народа-то самого разве это не касается? Что он, безгласная скотина?

«Нет, в начале письма я говорил, — «оправдывался», выступая в Останкине, Абрамов, — с кого же в первую очередь спрос... Конечно, спрос в первую очередь с райкома, с дирекции совхоза и так далее. Но имеет ли при этом к делу отношение рядовой человек, он за что-нибудь отвечает или нет? Или моя хата с краю? Или (и тут Абрамов буквально повторил строки своего «Письма») мы ждем, как в некрасовские времена бабушка Ненила: вот приедет барин, барин нас рассудит. Все упования на барина».

Был ли прав Абрамов? Не идеальничал ли он? Не кривил ли душой, надеясь, что если барин не рассудил, то мужик рассудит?

Он просто не видел иного выхода. Прошло то время, когда литература ратовала лишь за хорошего председателя, умного районщика, мудрого областника. Время показало, что не в этом дело. Председателя можно заменить, а ход жизни останется тот же. Сам Абрамов в «Вокруг да около» еще рассчитывал на этого председателя, на то, что он, набравшись храбрости, повернет колесо истории.

Минули годы, и он понял, что этого мало. Что настала пора обратиться к народу и сказать ему: что же ты, народ?

Голос Федора Абрамова прозвучал *вовремя*. Идеальничали теперь те, кто верил, что «приедет барин, барин нас рассудит». Кто находился в томлении ожидания, что «что-то еще произойдет».

Нет, не произойдет, говорил Абрамов. Пока мы сами будем «колоды лежачие».

Выступая на сессии Веркольского сельского Совета, он высказался еще резче, чем в своем «Письме»: «Решился написать, потому что надоели все эти безобразия... В 1963 году сказал на всю страну, что нельзя обирать деревню, но земляки как отреагировали — обругали меня.

...Подростки тянутся к бутылке и вы, земляки, спокойны. Со всем веркольцы свыклись; у нас ничего не будет, нам ничего не сделать, пусть приезжает начальство. У нас начальства и так много развелось.

Дети в будущем проклянут вас, что же вы им оставите в наследство?»

Уже после «Чем живем-кормимся» в интервью-беседе «Сотворение нового русского поля» (1980) он сказал: «одному Нетесову не разрешить всех жизненных проблем. Важна общенародная инициатива».

Ему отвечали: что решает один человек?

Он гневался: «Мы ничего не можем, ничего не решаем!» — это самый ненавистный мне образ мышления... ничто так не ненавистно мне, как пресловутое «мы ничего не решаем». За этими словами скрывается трусость, равнодушие, лень... Человек многое может».

Это было его убеждение. Он и сам поступал согласно ему. Леса вырубали на Севере — он писал, что арктический холод пойдет на Россию, пашню убивали

в Нечерноземье — это душу его убивали, засыпали тяжелой глиной. Он писал об этом в газетах, в статьях и очерках, он говорил об этом со всех трибун.

На панихиде в Ленинграде, в дни прощания с Абрамовым, Василий Белов сказал, что при последнем их разговоре они говорили о проекте поворота северных рек на юг. А о чем еще могли говорить два писателя? Разве не о том, что грозит гибелью родной земле?

Жизнь уже, кажется, баловала Абрамова. Уже никто не называл его писателем-очернителем, а книги его — идейно порочными. Его переводили во всем мире, его прозу ставили в театре, изучали в школе. Он сделался славен, знаменит. Но взнуздать Абрамова славой, обуздать было невозможно.

Никакая слава и никакие награды не могли «приструнить», смирить его.

Однажды, рассказывал мне Абрамов, его сватали в члены горкома партии. Секретарь обкома вызвал его и предупредил, что на конференции кандидатура Абрамова будет выдвинута в горком. Абрамов отказался. Секретарь был уверен, что он согласится — все-таки доверие, все-таки честь. Но Абрамов не согласился. «Так ведь я тогда что ни скажу, — ответил он, — то будет мнение горкома. А я писатель. И у меня есть свое мнение».

Его тем не менее избрали кандидитом в члены горкома.

Вспоминаю выступление Абрамова на праздновании его шестидесятилетия. Другие произносят речи, благодарят за орден, обещают и дальше оправдывать доверие и т. д. — Абрамов сразу свернул юбилейную колею в другую сторону. Он начал говорить о том, что жгло его как писателя в последние годы. О хлебе он говорил и о недостатке хлеба в стране. О том, что покупать хлеб такой стране, как Россия, позор.

При этом он вглядывался в зал, где в первых рядах и на почетных местах сидели его земляки. Они сидели нарядные — женщины в устаревших, не по моде, платьях, мужчины в пиджаках, но без галстуков. И Абрамов, обращаясь ко всем, обращался прежде всего к ним. Он ждал их одобрения и понимания, их поощрения и отклика.

В борьбе с собой, со своими слабостями и неполной правдивостью, он, однако, не мог умолчать о том, что народ, на который он уповал, должен пройти через то же чистилище.

Федор Абрамов был прекрасен тем, что, любя народ, веря в народ, не кадил ему, не был слеп в своей любви.

«Я не стою коленопреклоненно перед народом, — говорил он, — перед так называемым «простым человеком». Нет, и народ, как сама жизнь, противоречив. И в народе есть великое и малое, возвышенное и низменное, доброе и злое. Более того, злое иногда поднимается над добрым и даже подминает его. Примеры? Да их немало, как в мировой истории, так и в нашей отечественной, национальной». «Писать для народа, — пояснял он, — значит помочь ему понять свои силы и слабости».

Русская литература всегда поступала так. Она не льстила мужику, не подольщалась к нему. Защищая его, оберегая его, она не опускала перед ним глаз.

Издавна считалось и было на Руси, что народ — это крестьянство. Крестьян более всего жило на ее просторах, крестьянам более всех и доставалось. Неся на себе груз войн, труда и кормления России, крестьянин был раб при барине, слуга, крепостной. Даже землею, на которой он проливал пот, он не мог распорядиться, как своею. Крестьянин, мужик был более всех обижен

в Российском государстве и более всех достоин жалости.

И русская литература жалела его. Не идеализируя мужика, она винилась перед ним, ибо создавали эту литературу дворянские интеллигенты, те же «господа», которые были хозяевами крестьянина. Чувство вины перед народом было одно из самых сильных чувств русской интеллигенции, русской литературы. К началу двадцатого века это чувство так разрослось, что вылилось в ожидание возмездия. О возмездии, которое грядет и тяжко накажет дворянство за вековые грехи перед народом, писал Блок.

Федор Абрамов родился за один год до смерти Блока. Но эпоху Блока и эпоху Абрамова разделяет пропасть.

Абрамов принадлежал к той ветви русской литературы, которая создавалась уже не дворянами, а крестьянами. Ее создавали люди, еще не оторвавшиеся от крестьянского быта и крестьянского труда, еще не залечившие на своих руках «порубы и порезы» от сохи, от косы, от топора. Это было первое поколение новой интеллигенции, вышедшей из народа, но иначе, чем поколение Блока, смотревшее на народ.

Этой интеллигенции не в чем было виниться перед деревней, перед своими матерями и отцами, братьями, сестрами. Но им было от чего защищать деревню. Вспомним романы Абрамова: в городах давно уже отменены карточки, а в колхозе еще думают о куске хлеба. В городах паспорт и свободное передвижение, а в деревне справка — и без справки никуда не выедешь.

Вот почему мотив защиты, помощи, ласки, жалости стал главенствующим мотивом в прозе о деревне. Так писали о ней Е. Носов, В. Белов, В. Распутин, В. Шукшин, К. Воробьев, Б. Можаев. Так писал о ней и Федор Абрамов.

«Да, НТР — это всем революциям революция, — говорил он. — Глубже пашет, чем даже коллективизация. Россия прощается и прощается навсегда со своей тысячелетней избяной историей. И что плохого в том, что иной раз при этом обронят слезу? Мать родную, не мачеху провожаем в последний путь».

И еще: «Так что же удивительного, что старая крестьянка в нашей литературе на время потеснила, а порой и заслонила собой других персонажей? Нет, не идеализация это патриархальщины, не пресловутая тоска по уходящей избяной Руси, как иной раз с такой бездумной легкостью и даже высокомерием вещают некоторые критики и даже некоторые писатели, а наша сыновняя, хотя и запоздалая благодарность».

Такой благодарностью стали романы Абрамова, его повести и рассказы. Такой благодарностью стала каждая написанная им строка и сама его жизнь.

Оторви Абрамова от Севера, от родной деревни, от ее языка, от Пинеги, — что останется? Что останется от его речи, его мужиков и баб, от приволья, взгляда на мир, от широты души?

Здесь, кажется, она только и могла зародиться, здесь развернуться и, воспарив над этой землей, воспеть всю Россию.

Так надо ли говорить, как болело у Абрамова сердце, когда он писал «Письмо землякам»? Когда открыто сказал им в лицо правду о них?

Но иначе он не мог. Неправда, считал он, унижает народ. Никто так не унижает народ, писал он, как перестраховщики, «лжедрузья». «Те, которые всякого рода ватными прокладками и обертками крутых спусков и поворотов истории обесценивают и умаляют народный подвиг».

Подвиг, по Абрамову, не только победы, успехи, подвиг — это и сознание истины в часы поражения. Это

мужество духа перед лицом опасности, грозящей всей нации.

По мнению Абрамова, Россия к концу семидесятых годов подошла к «перевалу» своей истории. Произошло то, что годами накапливалось в народе и что Абрамов назвал «раскрестьяниванием русского человека».

Этот процесс, начавшийся, может быть, даже не в тридцатые, а в двадцатые годы, спустя полвека дал свой результат — и перед этим результатом оказался каждый честный русский писатель.

Что произошло с народом? Как он переменился?

Крестьянство, городские рабочие, служащие, интеллигенты перемешались и образовали однородную массу, которой не было еще тридцать-сорок лет назад. У этой массы своя этика и эстетика, свой облик и свой путь в истории. Прежде язык, труд и быт отличали крестьянина от городского человека, сейчас эти различия стремительно уничтожаются — сливается даже язык, этот вечный хранитель суверенности социального слоя.

Раздуть в народе искру памяти, обернуть его мысль к тем недавним временам, которые, передав настоящему свои страдания и опыт, ушли в прошлое, — и хотел Федор Абрамов. Ему мало было косвенного влияния на читателя. Романы и повести — одно, их где-то читают, кто-то, может, льет слезы над их страницами — но жизнь не меняется, — воздействие слова неочевидно, нематериально. А именно этого очевидного потрясения и добивался Абрамов. Он верил в слово. Не раз он повторял: «В начале было Слово!» И в конце фразы ставил взмахом руки восклицательный знак.

Откладывать на завтра, на туманное будущее, призывы к которому так часто покрывают безделье и лень, он не желал. Если народу плохо сейчас, то и литература сейчас должна помочь ему.

Вот почему он так страстно воззвал к народу перед лицом необратимых перемен в народе.

Писатель всегда точно выбирает минуту, когда то или иное слово должно быть произнесено. Если он настоящий писатель, он не ошибается ни на день, ни на час.

* * *

Северный день медленно умирает, нехотя уходя в сумерки, в ночь. Солнце зашло, но небо не гаснет, освещая последним светом луг, переходящий в берег реки, реку, белые развалины монастыря за рекой.

Пейзаж абрамовский — пейзаж его романов. Я иду по росе к дому друга Абрамова — Дмитрия Яковлевича Клопова. Клопов весь день провел на «дальних сенах», но к вечеру обещал быть. А мне надо с ним поговорить об Абрамове.

Дорога к дому Клопова идет через картошку. Обычной тропкой к нему не подойдешь — Клопов строится. Строит он новую мастерскую, которая своим свежим срубом уже поджимает старую избенку об одно окно.

В этой избенке мы и встречаемся. Клопов худоват, зеленоват, видно, и выпивает, но его руки — чудо-руки: они все умеют, из любой чурки могут изготовить такую вещь, что только залюбуешься.

В мастерской стол вроде полатей перед окном, на нем инструмент, пилы, ножи, какие-то загогулины из железа с тонко зачищенным, добела оплавленным острым концом, стамески, заготовки туесков. Готовые туески-короба стоят на отдельной полке, под потолком, как невесты на выданье. Их в Верколе делают для ягод, для молока, для хранения сметаны — не теряет в них сметана ни свежести, ни вкуса.

Снизу по стенам стоят ящики и ящички, справа

у стены верстак, весь обсыпанный опилками, опилки лежат и на свернутой постели Клопова: матрас, подушка без наволочки, старый полушубок вместо одеяла.

Под потолком плавают на нитях фанерные птицы. Этих клоповских птиц я видел даже в архангельском музее. Они грудасты, их груди выгнуты, как груди коней, сохранившихся на некоторых домах в Верколе, а крылья широко развернуты и распушены и как бы поднимают птицу вверх, отчего она поворачивается вокруг себя, совершая полет на одном месте.

В оконце мастерской видна Пинега, лес за ней, под окном стоит пень-стул, у которого есть даже спинка — неотрубленная ветвь дерева.

Пахнет мужиком, стружкой, железом, березовой корой. Клопов открывает дверцу одного из ящиков и достает свои картины. Пишет он маслом, и пишет только Верколу и ее окрестности. Тут и зарод на лугу в вечерний час, освещенный красным солнцем, и спуск к реке зимой — весь голубой от нетающего снега, и дома веркольские — «мавзолеи», глядящие на солнце своими маленькими окнами, и пожар северного сияния.

А вот и Пинега в серебристых блестках, как играющая чешуей рыба, делает поворот у Верколы.

Пожар северного сияния горит жарко. Ленты-радуги колеблются в небе, образуя ожерелье, как бы повисшее в воздухе, алмазно светятся снежные торосы, принимая на себя игру красок, и вся округа как будто празднует праздник — так хорошо ей от игрища природы.

К Клопову Абрамов захаживал часто. Баловался чайком из самовара, говорил с его матерью, а больше сидел в мастерской и рассматривал и этих птиц, и эти картины.

Не много наработаешь в мастерской, когда день занят в совхозе. Остаются только поздние вечера, темные ночи. По вечерам и заглядывал сюда Федор Александрович, сам наработавшись досыта, отдыхал в этой заваленной деревяшками комнате. Мастера тянуло к мастеру, хотя понимал Абрамов, что грамотешки у Клопова маловато, что уже начал повторяться он, и, горячась, требовал: «Учись, учись, читай книжки!»

В Верколе и по сей день считают Клопова чудаком. Абрамов понимал, что чудак этот — неотшлифованный камень, который — придай ему блеск — засиял бы сильнее иных драгоценных камушков.

В этом прибежище веркольского собрата по искусству освещала душу Абрамова красота. Та чуткость и нежность к красоте, которую он сам имел и на которую так падко поэтическое сердце.

Как поет Марфа Крюкова:

Погляжу я на родну реченьку на быструю,
На те ли на луга на зеленые,
На те ли на леса на дремучие...
На те ли наши озерушки,
На те ли на тихие наши заводи,
Пропевать-то я буду в пропеваньицах,
Говорить-то я буду в рассказаньицах
Про родной край да про родимый,
Возвеличивать буду страну нашу Северную
Со всей родной природой да с прелестью.

Дом Дмитрия Клопова стоит в центре деревни, недалеко от клуба и сельсовета. Слева от клуба — старая школа, где учился Абрамов (одноэтажный дом с покосившимся крылечком), с другой стороны сосновая роща, под сенью которой покоятся останки красных партизан. «Могила на крутояре» — об этих захоронениях.

В этом месте угор не так высок, как возле дома Абрамова, и потому подъем в гору с луга, ведущего к Пинеге, а через нее в заречье — не так тяжек. Где-то здесь пролегла «паладьина межа» — тропка, которую пробила героиня повести Абрамова Пелагея, возвращавшаяся каждый день из заречья с сумкой и ведром: в сумке хлеб для семьи, в ведре помои для поросенка.

Двадцать лет ходила она так, отмеряя туда и обратно полутораверстовый путь, в жару и в холод, в дождь и в солнце, как заведенная. И когда ее после смерти обмывали, то оказалось, что все ее правое плечо — «мозоль». От лопаты это, от той лопаты, которой совала хлебы в печь — ни много ни мало, по сто семьдесят буханок в день: сто буханок черного да семьдесят белого. А печь растопить? Каждое полено в сажень длиной. А три десятка ведер воды натаскать?

Таскала.

А как только домой вернется, полежит, отдыхая на голом полу (голый крашеный пол хорошо жар вытягивает), и — с коробком за спиной в лес. Траву для коровы собирать. Да еще оглядывается на ходу — запрещено было тогда на колхозной земле траву брать.

Как одной из героинь «Травы-муравы» — цикла рассказов Абрамова — когда та умерла, ставят на могилу плуг, так Пелагее можно было бы поставить на могилу ее пекарскую лопату.

Дорого досталась она Пелагее. Заплатила за нее честью — дала выспаться на своих золотых волосах Олеше-рабочкому. Такой уговор между ними был — он ее на пекарню устраивает, она ему — ночь благодарности взамен.

А что ей было делать? «Разве виновата она, — пишет Абрамов, — что треть своей жизни голодала?» Муж вернулся с войны и стал слабнуть сердцем. Их первенец в 1946 году зачах — высохло от голода молоко у мате-

ри. И с сорок седьмого года, ни одного дня не отдыхая, ломила Пелагея, как мужик. Все для семьи сделала: дочь вырастила, дом построила, хозяйством обзавелась, в деревне ее уважать стали (можно сказать, в элиту деревенскую вошла), тряпками сундуки набила. И мужу жизнь продлила, потому что без ее подмоги какой бы он был жилец?

Абрамов берет Пелагею в тот момент, когда ее власть над деревней кончилась. Когда буханка — эта ее козырная карта в борьбе за жизнь — потеряла в цене. Люди обстроились, подкормились. Хлеба в магазине полно.

Зачем жила Пелагея? Для чего трудилась? Из-за этих сундуков с тряпками? Но они никому не нужны. Ради Альки, дочери? Но Алька ушла в город, то плавает на белом пароходе, то крутится в ресторане официанткой, то пересаживается на серебристый лайнер. Алька после смерти матери собирается продать дом, построенный Пелагеей, и покончить с деревней.

Так ради чего же?

Без слез уходит Пелагея со своего поста у печи. Слез нет — «слезы у печи выгорели». Нет и ее золотых волос. Один тощий хвостик остался на затылке. И Пелагеино золото съела работа. Пелагея принадлежит к тому поколению женщин, которым история если и дала пожить, то только в труде. Федор Абрамов называет ее «поэтом работы».

И когда остается она одна в пустом дому, тянет ее снова за реку, к хлебам своим — «румянощеким ребяткам», к печи, к ее огню, к тому, на что положила она жизнь, положила свою силу.

И спешит Пелагея, как пишет Абрамов, «на богомолье к пекарне». Она и в самом деле ее молельный дом, ее церковь, ее святыня.

Я был в этой пекарне. Ее толстые каменные сте-

ны держат жар. Огромная родильница-печь занимает почти все пространство. Стоять возле нее можно только в тонкой рубашке. И не хватает воздуха, потому что потолок низкий, а откроешь настежь дверь — застудит холодом.

Вдоль окон стоят на противнях буханки. Политые водой и смазанные постным маслом, они готовы к поступлению в печь, которая поднимет тесто в железе, продует его горячим воздухом и превратит в хлеб. В тот хлеб, из-за которого убивалась деревня столько десятилетий.

Теперь пекарня за рекой нужна только заречью. В Верколу хлеб привозят из Карпогор. Теперь и огонь в печи не тот, и работа теперь не та. А то бывало, как при Пелагее, кирпичи в печи лопались от жара — не выдерживали нагрузки.

Кирпичи лопались, а человек стоял.

«Все, все было на месте — и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.

А она поднялась по тропинке к этой изгороди да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.

...Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги, да без этого жернова ей и дышать нечем».

И «обнимает глазами» Пелагея хлебы, и ласкает их взором, и с грустью видит, что «сиротами» смотрят буханки — не смазывают их маслом, а брызгают одной водой.

Пелагея к хлебу как к ребенку относится, как к дитяти, которое она сама же и на свет произвела,

а Алька, которая вместо нее на пекарне орудует, — как к беспризорщине. «Исть захотят — слопают», — говорит она о тех, кто будет есть этот хлеб.

«Нет, хоть и сказано у людей: какова березка, такова и отростка, — а не ейный отросток эта девка, — думает Пелагея. — Она, Пелагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возьмет. Раньше ведь первым делом не на рожу смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки».

Или, как сказано в «Делах российских», «чтобы спереди была баба, а со спины лошадь».

Героинь Абрамова выбирают не на целованье, не на милованье, а на жизнь. Вон Василиса Милентьевна в «Деревянных конях» в утро после первой брачной ночи, когда другие «целуются и милуются», «встала ни свет ни заря да за реку по грибы». Инстинкт ее поднял — никто ее в этот лес не гнал.

И сейчас, когда она уже старуха, не удержишь ее на печи, в ясную ли погоду, в непогодь — она в лесу. Так и кочует от семьи одного сына к семье другого, подсобляя, в чем может, и не давая себе передышки.

Милентьевну зовут в повести Василиса Прекрасная. И вправду, видать, красива она была в молодости. Высокая, сильная, а глаза синие, как небеса после грозы. «Ох, как тут сверкнули глаза у старой Милентьевны! — пишет Абрамов. — Будто гроза прошла за окошками, будто там каленое ядро разорвалось».

Милентьевна — ровесница Евдокии-великомученицы. Только та с Калиной Ивановичем по свету моталась, а эта всю жизнь в деревне прожила. Когда взяли ее замуж в лесную Пижму, она всех мужиков подняла на «расчистки» — на отвоеванье земли у леса. И стала деревня на ноги, обзавелась и хлебом, и скотиной.

Только недолго стояла. Раскулачили их. Муж из ссылки вернулся больной, а свекор там и умер. «До двенадцати обручей слетело» с Милентьевны — двенадцать детей она родила. И почти всех выходила. Двое сыновей погибли на фронте, дочь, работая в войну «у пня», «налетела на какого-то подлеца» — «обрюхатил». И порешила себя.

Все вынесла Милентьевна, все пережила. Как и Пелагея, как Катерина в рассказе «Бабилей», как десятки других женщин, героинь «малого эпоса» Абрамова.

Нет ни одного рассказа, ни одной повести у Абрамова, где героем не была бы женщина. «В Питер за сарафаном» — рассказ о ней, о том, как молоденькая девчушка добралась до Петербурга, чтоб обзавестись сарафаном и вытащить у судьбы счастливый билет. «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» — три повести о трех женщинах, о трех поколениях русских баб, каждое из которых и история и эпоха. «Сосновые дети», «Бабилей», «Мамониха», «Поля Открой Глаза», «Пролетали лебеди» — о них же.

А «Надежда», а «Слон голубоглазый», а «Самая счастливая», а «Из колена Аввакумова»?

Есть ли среди них удачницы, счастливицы, испившие мед радости женской и сытые этим медом? Нет. Всюду — страдания и преодоление, борьба за детей, за мужиков, за то, чтоб выжить, прожить, своей волей и терпеливостью вытащить из беды род, семью, дом, деревню, Россию.

В рассказе «Сосновые дети» у Наташи нет детей — надорвалась она на лесопосадках и иметь детей не может. Так она всю свою материнскую силу отдала маленьким сосенкам. «Самая счастливая» счастлива счастьем своих детей, а героиня рассказа «Слон голубоглазый» — тем, что спасала людей в трудные годы. В те годы, когда

клевета и ложь заставляли цепенеть от страха, она отдавала отверженным веру и любовь.

Женщина у Абрамова не видит своей красоты, не знает о ней. Ей некогда на эту красу смотреть. Ей некогда и ее пестовать. Если она оглянется на себя и вдруг увидит себя со стороны, как Анфиса Минина в «Братьях и сестрах», то ужаснется тому, что она баба. Она сама думает о своих спине и руках, а не о лице, не о наряде, не о том, как перед миром и перед мужчиной выглядеть.

Исключение, может быть, Варвара — та и в войну сохраняет свою бабью стать — жизнь, не убитая страданьями, играет в ней.

Милентьевна в проливной дождь уходит от невестки, чтоб только успеть добраться до другого дома, где ее ждут, где надо и грибов насобирать (на Севере их зовут «губы»), и за ребенком приглядеть, и просто принести мир в семью. А Майка-плотник из рассказа «Майка-плотник», а девчушка, идущая за лошаденкой с бороной из новеллы «Кому-то робить надо»? Все они такие.

Они и женщины, и мужики, они матери, возлюбленные, и они «поэты работы».

Катерина в «Бабилее» тоже прожила «век с телятами». Тоже всю жизнь ходила за детьми — своими и чужими, а чужих муж от другой нажил. Руки у нее «большие, тяжелые... черные, жиловатые, с обломанными ногтями».

Но если Пелагея рухнула, как дуб, в эти годы, то Катерина еще молода и свежа. Она празднует свой «бабилей» — юбилей, и в пятьдесят смотрится лучше, чем ее дочери. Они по сравнению с нею «обабки». А когда пускается Катерина в пляс, нет ей равных. И хоть не плясунья она («хлоп да скок, да притоп, да картошки мешок»), все мужики заглядываются на нее, и гармонист едва поспевает за ней со своей музыкой.

«Синяя радость» хлещет из ее глаз, ладность, резвость, огонь — все мешается в танце. Этот праздник для Катерины — день свободы. С отчаянием, почти с вызовом отдается она этой свободе. Потому что смотрят на ее веселье и не одобряют его муж Гордя и его «силираты». Эти «прилипалы да огарыши», как называет их подруга Катерины Евстолья, которые вот уже сколько лет ездят на ней.

Горькие истории открываются в бабьих откровениях за столом. О том, как «в очередь стояли» за мужиками после войны. «Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были».

Дочери обрывают Катерину, стыдят ее. Но ей тоже хочется раз в жизни и о жизни высказаться. Ибо погрузится она на следующий день после «бабилея» в молчание.

Праздник, выхватывающий из тоски будней эту «тончавую бабенку» со станом, перетянутым «узким черным лакированным ремешком» и с «дешевеньким серебряным колечком на черной тяжелой руке», кончается грустно. Наутро герой рассказа видит Катерину и не узнает ее. Потух взгляд, померк наряд. И вся она согнувшаяся, тихая, несмелая покорно подает «силиратам» на стол.

Где ее красота? — спрашивает автор. — Где гордость? Где свобода? И Евстолия вторит ему: «Почто, по какому праву? ...Ох, кака бы жизнь, кака бы жизнь у нас была... кабы Катерина набралась смелости да всем этим сволочам вместе с Гордей в рожу плюнула!»

Вопрос не риторический, вопрос прямой. И обращен он не к одной Катерине. Нет, не поэт Абрамов долготерпения, не одописец. Ему больше по душе

Милентьевна с ее грозой в глазах, чем сдающаяся на милость Горди Катерина. Хоть он не корит ее. Он ее жалеет.

Никто, пожалуй, со времен Некрасова не писал так о русской крестьянке, как Абрамов. Никто так не понимал женского сердца, надорванного на работе, на долготерпении. Никто так не желал, чтоб страдания этого сердца были вознаграждены.

Короток век красы, короток и век любви. У Анны-куколки, матери Пряслиных, это только воспоминанья о том, как брал ее на руки Ваня-сила, у Варвары — часы в ночи, когда приходил к ней, крадучись, Мишка Пряслин. У Анфисы в «Братьях и сестрах» — одна летняя ночь, безгрешно проведенная рядом с Лукашиным. Или вечер, когда, разорвав на себе кофту, укутывала она его — раненого — после пожара.

А что у других?

У других и этого нет. Нечего вспомнить ни Клавдии Нехорошковой, ни Зойке, ни Нюрке Яковлевой («Дом»), ни Анисье («Пелагея»), ни Поле Открой Глаза из рассказа «Поля Открой Глаза».

Полю так прозвали за застенчивость, за «непомерную стыдливость». Когда-то она была гладко зачесанной смуглой девочкой, черноглазой, с пышной косой, а теперь отпетая бабенка, которая «гнет матюки, как медведица дуги».

«До тридцати лет жила, — рассказывает Поля, — ни разу с парнем не поцеловалась. С худым, мозгляком каким, не хочу, а хорошие-то они где? Хороших-то на войне поубивали».

Полина жизнь с четырнадцати лет «у пня». Братьев и сестер поднимать надо было. А кому? Отец умер, а Поля — из шестерых — самая старшая. Ей и пришлось.

«Вот так я и дожила до тридцати лет девушкой, —

продолжает Поля, — на все сто процентов. А тут спохватилась: да что же это я делаю-то? Ведь я так зачахну стопроцентной девушкой, ха-ха. А где любовь? В романах, в кино вешаются да травятся из-за этой любви, а я жизнь прожила и не отведала. Вот тогда-то я первый раз с бутылкой и спозналась. А как? Надо идти на поклон к Ваньке-Олешичу (один у нас был сознательный, никого не отталкивал), а меня тошнит от одного вида его. И вот для храбрости я сама хватила стакан да еще ему за труды бутылку прихватила...

...Что морщишься? Небаско говорю?»

Женщина грубеет от жизни, становится похожей на мужчину. Работа мужская, груз на плечах мужской — и язык мужской, ухватки мужские. Называя Пелагею поэтом работы, Абрамов при этом добавляет: «и вместе с тем аскет».

Не от хорошей жизни стала Пелагея аскетом. Не от лучшей доли произошло это с другими героинями Абрамова. Сделала их такими не природа, а, как говорит в «Альке» Маня-большая, «епоха». Вспоминая мать, Алька думает: «А была ли счастлива мать? Неужели же испечь хороший хлеб — это и есть самая большая человеческая радость?»

Получается, что так. Для женщин Абрамова именно так. Для них труд, работа и есть дело их любви. Они страстотерпицы и великомученицы, но их мука и счастье неотделимы друг от друга.

Оторвали Пелагею от печи — и «выпала она из телеги». И жить ей нечем, остается только помереть. «На какое-то мгновение, — пишет Абрамов о последних минутах Пелагеи, — она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскаленной печи на своей любимой пекарне, и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо».

Пекарня, в которой когда-то работала Пелагея Амосова (пекарня та самая, а черты Пелагеи взяты у многих лиц), стоит на краю бывшего монастырского подворья. Монастырские стены давно разрушены, кирпич растащен, но кое-где выглядывают из травы щербатины каменной кладки. Поблизости бывшая монастырская гостиница (ныне общежитие), кельи, колокольня, а в центре двора — остов могучего когда-то сооружения — собора, на верху которого гремит под ветром оборвавшееся с крыши железо. Внутри собор в солнечный день залит светом: свет льет из пробитого купола, из щелей дверей, из растерзанных окон. На стенах, исписанных разными похабными надписями, а то и просто автографами местных каллиграфов, обезображенных присохшими к штукатурке сигаретами, сохранились полувыцветшие фрески. На одной из них изображена Богородица, стоящая на облаке внутри крестьянской избы и принимающая поклоны от святых старцев.

У нее лицо простой крестьянки, и одета она, как молодая крестьянка: повойник, сарафан, простые чоботы на ногах.

Женщина эта похожа на героинь Абрамова. Они тоже синеглазы и золотоволосы, у них та же мягкая улыбка и если коснуться их внимательно-добрым взглядом, то стыдливой нежностью ответят они тебе на этот взгляд.

В «Альке» Анисья, сестра Пелагеи, вспоминает, как ходила Пелагея с Павлом в лес по ягоды и по грибы. И так возле каждого ручейка, где можно было напиться, оставлял ей Павел, на случай, если придет она сюда одна, берестяные коробочки. Чтоб не из рук пила, а из этих коробочек. Да еще мостки перебрасывал через ручьи, чтоб не замочила ног. Все чувства Пелагеи, по мнению Альки, ушли в работу, но вот нет ее, давно скрыла ее земля, а до дочери доносится сквозь шум

ветвей «березовый шелест» — голос ее матери. То голос неизжитой любви Пелагеи.

Любила ли она и была ли любима?

Милентьевна, например, прямо говорит: «И по-нонешнему сказать, не любила я своего мужа...»

«По-нонешнему» — это по-Алькиному. Понятия Милентьевны о любви и понятия Альки о любви не совпадают. Для Альки любовь удовольствие, веселье, музыка, может, на худой конец, вечер танцев. Для Милентьевны — оброк и долг. А для Пелагеи — борьба за жизнь, за мужа, за дочь. Для нее любить Павла — значило выходить его, не дать умереть ему раньше времени, оттянуть эту смерть, заползшую в его сердце сразу после войны. А для того, чтоб спасти Павла, как-то продлить ему жизнь, — как делала это для своих близких Милентьевна, — надо было надрываться и дома и у печи.

Поэтому даже измену Павлу Пелагея не считала изменой. Потому что измены никакой не было, и сделала это она только для того, чтоб прокормить Павла.

Но все же и минуты нежности знали они с мужем. Минуты, когда, поднимаясь на угор от речки, встречала Пелагея мужа, поджидавшего ее. Как ни хвор, ни слаб был Павел, а всегда выходил ее встречать и со слезами на глазах принимал из ее рук хлеб и ведро с помоями. Старался облегчить ношу, хоть в конце пути до дому снять с ее плеч тяжесть.

Абрамов скуп на такие сцены, он редко «оттаивает» в своей прозе. Он и сам поэт-аскет, поэт работы. Красавица Алька, живущая без любви (хотя мужиков при ней хватает), заходит в дом к своей подруге Лиде, которая вышла замуж за их одноклассника Митю-Первобытного. В школе заглядывался Митя на Альку, да был ей неинтересен. А теперь она с интересом смотрит на него,

Как стружка древесная, завиваются волосы у Мити. И весь он пропах деревом. И видя, как нежно относится Митя к Лиде, как почти что лелеет ее, Алька начинает понимать, что «запах настоящей любви» — это «запах свежей сосновой щепы и стружки».

Алька — красавица и в некотором роде идеал красоты у Абрамова. Зеленоглазая, белотелая, рыжеволосая — она, кажется, создана для любви, для утехи. Но не утехою видится женская любовь Федору Абрамову. Она для него и крест, и жертва.

Слишком дорого приходится платить за желание счастья. В рассказе «Пролетали лебеди» образ красоты и счастья появляется в виде «румяной красавицы», намалеванной на коврике с рынка, который дарит героине рассказа ее соседка. Авдотье Малаховой сорок три года, у нее голова больная, ноги ноют на погоду, «ревматизмом разворочены», рот без зубов. Но она собирается рожать. Никто в деревне не знает, от кого у нее будут дети, и все смеются над ней. А соседка Манефа — гулящая баба — жалеет ее.

«На коврике (который она дарит Авдотье. — *И. З.*) была щедро выписана полная румяная красавица с рыжими распущенными волосами и большими холмообразными грудями, с которых была приспущена нижняя сорочка. Красавица сидела, облокотясь, у раскрытого окна какого-то островерхого терема, похожего на старую заброшенную силосную башню, и томно смотрела вниз. А внизу, на озере, целовались два желтоклювых лебедя».

Обычная поделка, обычная рыночная живопись. Но, даря этот коврик, Манефа говорит: «...поглядывай чаще на эту картину — таких же лебедушек родишь».

И этот намек, это предсказание сбывается. Авдотья рожает девочку и мальчика. Но, как лебеди, вспугнутые всеобщей порубкой лесов, разорением северного

края, — исчезают из жизни и эти две лебедушки. Жизнь уносит их в одночасье.

Мальчик Панька, идущий искать на лесном озере опустившихся туда на мгновенье лебедей, простуживается и умирает. А чуть позже засыхает от тоски по нему его сестра.

Женщина на коврике напоминает рыжеволосую Альку. Она как будто списана с нее. И высокий терем и эти два лебедя на озере — как бы мечта Альки и одновременно мечта всех женщин о любви, о счастье. Но одно дело коврик, картина (пусть и намалевана она бездарной рукой), другое дело жизнь.

Даже в рыночном идеале, точнее в том, как он исполнен художником рынка, просвечивает истинный идеал. У героев Абрамова — заказчиков этого идеала — нет других представлений о прекрасном. Но это не значит, что они не чувствуют душу его сердцем. Они хотят быть счастливы, но не могут.

Авдотья в конце рассказа молит Богородицу о «чуде» — чуде спасения ее детей. «Но чуда не произошло», — пишет Абрамов.

Алька хотела бы сотворить это чудо своими руками, освободиться от жесткой житейской повинности, которую несла ее мать, и вырваться на простор, на волю. Недаром она ищет волю то в небе, то на реке. Стихия воды и неба как бы освобождает ее внешне.

Но истинной свободы этот порыв Альке не дает. Федор Абрамов не ставит ей в пример своих женщин-аскетов, но он все же на стороне их.

Он понимает, вместе с тем, что поколение Альки не хочет идти по «паладьиной меже». Что ему этого мало. Что оно куражится и бунтует, как «бунтуют» Родька Лукашин или Лариса Пряслина в «Доме». Он возвращает Альку на несколько дней в деревню, дает ей подышать воздухом родного дома, всплакнуть по ма-

тери и дому, даже выйти на уборку сена, чтоб взыграла в ней амосовская хватка и азарт к труду — но и только.

Алька должна уйти из деревни, как неминуемо должен быть разломан и продан ее дом, как должно рухнуть то, что возводила долгими трудами Пелагея Амосова.

Нет, не Алька героиня Абрамова, а маленькая семужка из сказки «Жила-была семужка» (1962), которая из далекого моря — моря обетованного для питающейся морской рыбой семги — спешит обратно в родную речку Юлу, где она родилась и где должна продолжить дело жизни.

Уносясь «очертя голову» вслед за взрослыми семгами в море, семужка мечтает и свет повидать и себя показать. Ей просто, как всякой дерзкой девчонке (а Абрамов называет ее девчонкой в «детском платьишке»), хочется погулять.

Но первые дни опьянения морем — опьянения свободой и «жратвой» — сменяются ноющей болью по той малой и узкой протоке, где совершали свой брачный обряд взрослые семги и где под галькою, куда зарывали они своими оббитыми носами икру, зарождалось их потомство.

В море семужка узнает о существовании великого Лоха — самца-красавца, который когда-то вывел их род из реки и тем самым спас его от вымирания. Великий Лох становится ее идеалом, ее заочным женихом и желаемым отцом ее детей. Семужка в сказке, как и все абрамовские героини, хотела бы отдаться и рожать по любви.

Материнский инстинкт, инстинкт рода, семьи берет верх и в легкомысленной Красавке (так зовут семужку), и она, как и все семги ее реки, поворачивает назад, ища путь к родине.

Семужку гонит в Юлу «закон предков» и закон ее существа, которое предназначено для того, чтобы вернуть долг любви.

«Далеко родина, но родину не выбирают», — пишет Федор Абрамов. Родина — это место, где каждый призван совершить то, что ему написано на роду, предназначено от века. Дело семужки — рожать, и нет никакой силы, которая могла бы удержать ее от исполнения этого предназначения.

«Жила-была семужка» — единственная сказка Абрамова. В конце жизни он написал рассказ о собаке — «Потомок Джима» — но это рассказ о блокадном Ленинграде, о верности собаки своему хозяину, и хозяина собаке (в самые трудные дни, когда помирал человек от голода, не дал погубить собаку), об их взаимной преданности и верности друг другу.

В сказке о семужке все чудесно, хотя все, как в жизни. И море тут не только волны и простор, в котором может купаться Красавка, но и море жизни, где беззащитную семгу на каждом шагу подстерегает враг, «много врагов». В море, как говорит взрослая семга, если ты кого-то не съешь, то тебя съедят. И самой Красавке, чтоб как-то просуществовать, нужно поедать бедную сельдь.

Еще и потому она ищет защиты в силе, поддержки в силе, которая олицетворяется для нее в образе Лоха. Женщины Абрамова, оставаясь без мужиков, иногда оставаясь навек, навсегда, все же в мечтах или воспоминаниях — взыскуют защиты, жаждут ее. Без поддержки этой силы — хотя бы в мыслях — они неспособны жить.

Так надеется на Лоха и маленькая семужка.

«Красавка во сне и наяву грезила о нем. В черные осенние ночи она почти не спала. Вот сверху падает звезда, и ей уже чудится, что это сам великий Лох в звездном сиянии идет к ней».

Лох является к ней в «сказочном сиянии», когда Красавка, набухшая икрой, в сладостной истоме готовится рожать.

Но это является не Лох, а «пламя козы — железной решетки с горящим смольем», укрепленной на носу лодки браконьера. И страшный удар в затылок вслед за этим — удар остроги со стальными зубьями — убивает семгу.

Красавка даже не успевает понять этого обмана жизни, так надругавшегося над ее мечтой, — она погибает мгновенно. И ее потомство, ее будущие дети — ее икра — из распоротого острым ножом брюха вытекает в котелок.

Сказка кончается так, как и должен был ее окончить Федор Абрамов. Называя Красавку презрительно «пионеркой», то есть совсем молодой рыбой, браконьер выбрасывает ее в реку. По его мнению, с ней больше «не стоит мараться».

Неистовая абрамовская правдивость врывается в мир вымысла и опрокидывает его в мир факта.

Даже в сказке Абрамов не может дать счастливого конца — как ни противоречит это законам сказки, — потому что это было бы противно его правилам.

«А человек, суете который уподобится, дние его, яко сень, проходят, — говорится в «Житии протопопа Аввакума», — скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съесть хощет, яко змия; ржет, зря на чюжую красоту, яко жребя; лукавствует, яко бес; насыщается довольно, без правила спит; бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает, и не вем, камо отходит: или в свет или во тьму, — день судный коегождо явит».

Федор Абрамов прочитал Аввакума на склоне лет. Говорят, после прочтения этой книги он не мог спать

несколько ночей. Ксении Петровне Гемп он сказал: «Эта книга жжет меня».

Через некоторое время он предпринял поездку в Пустозерск, чтоб посмотреть на те места, где сидел когда-то в яме опальный протопоп. Язык и вера этого человека поразили его. Ему явился пример высшей правдивости, той абсолютной отдачи воительству за свою идею, о которых он мечтал.

Абрамов писал, что каждый истинный писатель обязательно «еретик». Он не может повторять то, что общепризнано или навязано ему общепризнанным. Он кровью сердца вырабатывает свою веру. Он идет к ней через сомнения и опыт своей жизни и если уж произносит слово, то готов отвечать за него на страшном суде.

В рассказе «Из колена Аввакумова», написанном в 1978 году, он вывел женщину, Соломею, которая, как и Аввакум, за свои убеждения способна пойти на костер. Обезножев, она встала на ноги — встала своей силою. Встала, чтоб пойти в Пустозерск (а он четыреста верст от Пинеги по бездорожью), и дошла туда, поклонилась кресту, на котором был сожжен Аввакум, и обрела здоровье.

«Не обделил, не обделил меня господь страданьями», — говорит Соломея, но всякое страданье, посланное ей, как она считает, свыше, было побеждено ее духом.

Мужа избили насмерть мужики в деревне — она его из мертвых воскресила. Саму деревню, взбунтовавшуюся на их семью, остановила от очередного смертоубийства, а уж что касается ее самой и бед, выпавших ей на долю, то и говорить нечего. Кто-то на нее наклеветал, что она икоту на скот напускает. «В колхозе робила — все одна на поле, вся понапраслина как стена между мной и людьми... А начальство, то опять невзлю-

било за то, что в христово воскресенье не роблю. Два раза в лагерях на отсидку сидела... Попервости в погреб этот впихнут — зуб на зуб не попадает. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. А потом раздумаю: а слово-то божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аввакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, мне и теплее станет».

Конечно, нелегка правда, тяжела правда. Иной раз она и жестока, но иного пути для писателя, как говорить правду, нет. «Хвастливое слово гнило», — говорят в народе. «Посеешь ложь — не вырастет рожь».

В записных книжках Абрамова (часть из них он включил в цикл рассказов «Трава-мурава») есть такая запись: «Мужество надо упражнять, иначе оно ржавеет». Сказано, может быть, и не очень ловко, но то, что некая профилактика мужества нужна человеку — это факт. Абрамов часто устраивал себе такие «чистки», проверяя себя на то, способен ли он дойти до края правды и перешагнуть этот край. Может ли он сорвать с глаз пелену, которая мешает видеть *всю* правду и заставляет человека покачиваться на канате между правдой и ложью.

Одной из таких «чисток» была и книга «Трава-мурава», которую он напечатал в журнале «Север» в 1981 году.

В надписи, сделанной на странице журнала, где напечатана «Трава-мурава», Абрамов, даря номер автору этих строк, написал: дарю, мол, «кое-что из моих последних поделок». Однако в письме, которое пришло сразу вслед за журналом, он оценил «Траву-мураву» иначе: «Траве-мураве» я придаю особое значение. Думаю — это серьезно, если хочешь, даже с каким-то философским подтекстом (ненавязчивым, слава богу) и све-

жо по форме. А кроме всего прочего, это сама жизнь, но, разумеется, в моем освещении».

Чистя свой стол и освобождаясь от бумаг, которые загораживали его выход к «Чистой книге», Абрамов сметал новый стог, который, хоть и не метался, как стог, а подбирался, как копешка, из остатков неубранного сена (под «Травой-муравой» стоят даты: 1955—1980), стоит сейчас наравне с зародами, сметанными Абрамовым в его романах.

Вообще соотношение «большой» и «малой» прозы у Абрамова неоднозначно. По объему, по «вышине» романы, конечно, теснят его малую прозу, оставляя ее в своей тени. Но по сжатому солнечному веществу, по энергии, таящейся в строках, малая проза Абрамова, пожалуй что, и лучистее большой прозы, ее свет, все время находящийся в фокусе, ярче.

«Траву-мураву» можно читать как исповедь, можно читать и как проповедь. Это не дневник, и вместе с тем дневник, это выжимки из записных книжек, и вместе с тем не записные книжки.

Форма абрамовской книги — монолог. Почти каждая главка, каждая запись начинается с прямого рассказа человека о себе, иногда и комментариев к такому рассказу не требуется. А иногда и Абрамов «встревает» в разговоры героев, не мешая им, не перебивая их, вставляет свое слово. Он все время при них, он сторожит их душевные откровения, сторожит сердцем и слухом, боясь упустить хоть слово, хоть малую присказку.

Монологи короткие, но и, как у короткой пружины, разжимающейся вмиг и бьющей наотмашь, отдача их сильней. В один-два абзаца укладываются эпоха и жизнь. И человек предстает во весь рост, и автор, и идея.

Рассказ «Вкус победы» занимает четверть страни-

цы, но история, рассказанная в нем, стоит повести. Повести о послевоенном голодном детстве. Когда вернулся солдат в деревню, его окружили ребятишки. Он им: я вам Победу привез. «А мы, малоросия, что понимаем? — говорит героиня рассказа. — Вылупили на него глаза, как баран на ворота. Нам бы Победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло».

И догадался солдат. «Достает из мешка буханку хлеба. «Вот, говорит, девки, так Победа-то выглядит». Да давай эту буханку на всех резать.

Долго я после того капризила. За стол садимся, мама даст кусок, скатанный из моха да картошки, а я в слезы: «Победы хочу»...»

Какой, спрашивается, у этой истории подтекст? Да никакого! Но когда такие истории соединяются, когда выстраиваются по годам, когда проходят по поколениям и как бы подстраивают одно поколение за другим — получается философская идея.

Это идея о народе и идея народа. Народ пестр в «Траве-мураве». Суворов говорил о себе: «Был мал, был велик». Так и народ у Абрамова. Он мал в слабостях своих, велик в достоинствах, а главное, это не буколический народ, а живой народ.

Если мы ничего не решаем, то мы не мы, считал Федор Абрамов, — мы не народ. Если я ничего не решаю и сижу сложа руки, когда творятся безобразия, я не я, я — не писатель.

Достоинство народа — это прежде всего достоинство отдельного человека.

* * *

«Трава-мурава» стоит между публицистикой Абрамова и прозой Абрамова. Она без помех соединяет и ту и другую. Сам Абрамов входит в книгу,

не отделяя себя от героев, не маскируясь под рассказчика, под постороннего. Да и какая тут посторонность, когда место действия — Пинега, а герои — его земляки?

Так, впрочем, было и в рассказах — разве не сам Абрамов герой и «Бабилея», и «Последнего старика деревни», и «Могилы на крутояре», «Михея и Ириньи», рассказов «Однажды осенью», «Из колена Аввакумова», «О чем плачут лошади», «Последняя охота», «Олешина изба», «Дела российские», «Сказание о великом коммунаре», «Сосновые дети»? С какой точки ни взгляни на эти вещи, всюду увидишь автора: то беседующего с конями на лугу, то расспрашивающего старую Соломею и дивящегося ее стойкости, то приезжающего на сосновую деляну к своим героям, где растят они молодые сосенки — надежда Абрамова, что молодой сосняк залечит раны вырубленного леса — то исповедующего Полю Открой Глаза, то самого перед собой исповедующегося.

Нет, не дано было Абрамову олимпийское возвышение над героями — от своей души отрывал он их, от своих воспоминаний. Писал ли он о Милентьевне, о старом доме с конями — он тут же относился мыслями к своей матери, к ее рукам с березовым трепалом, которым обрабатывают лен, или к ее глазам, которые «светились... и сияли, когда она, до упаду наработавшись... поздно вечером возвращалась домой», — справлял ли с бабами «бабилей» за рекой, его сердце терзалось оттого, что он, писатель, ничем не может помочь закабаленной «силпратами» Катерине.

«Господин гневу своему — господин всему» — говорит пословица. Абрамов не всегда в жизни был господин гневу своему, но гнев этот был праведен, чист. Он исходил из чистого источника. И жаждал только чистоты.

В «Траве-мураве» Абрамов хотел показать русский характер со всех сторон — со стороны его «живописности» и со стороны «неотделанности», со стороны «долготерпения» и со стороны «своеволия». Рассуждая о русском характере, он писал: «Нам в России всегда не хватало деловитости... Нам всегда тесно в рамках того, что есть, мы всегда уносимся мечтами в небеса... Я убежден, что русский характер — самый многогранный и самый разнообразный, и самый, так сказать, невыделанный... Русский характер очень красив, живописен, дает благодатный материал для литературы. Однако он не очень, как бы это сказать, удобен для практической, общественной жизни... В русском характере... нередко уживаются самые полярные тенденции — скажем, стремление к государственности и тяга к своеволию... Иногда нравственный максимализм, который так вознес русскую литературу XIX века... наше стремление во что бы то ни стало разрешить, и разрешить немедленно, сию минуту, все «проклятые» и вечные вопросы... оборачиваются забвением земных мелочей, конкретных дел своего бытия.

...И еще одну важную черту я отметил бы в русском характере — черту, которая много объясняет в нашей истории и которая, в свою очередь, объясняется нашей историей, — это готовность к долготерпению и самоограничению, к самопожертвованию. Черту, гениально подмеченную еще Пушкиным, хотя нужно прямо сказать: в этой особенности имеются как свои светлые, так и опасные, даже пагубные стороны».

Слова эти говорят, как трезво смотрел Абрамов на народ. Как он не обольщался его «всемирной отзывчивостью», которая мешает ему иногда позаботиться о собственном доме.

В «Траве-мураве» есть и характеры, твердые как камень — как Татьяна Васильевна, например, которая,

не простив измены мужу, на похоронах ни единой слезинки не обронила при его гробе. А есть и безответная Машуня, которая осталась в девках, но не в ропоте на судьбу, хотя судьба ее — в довершение всего — глаз лишила. Про таких, как она, говорят, что ее ждет один «жених Гроб», а она не соглашается: «Не знаю, не знаю, что со мною будет, какая жысь... Может, и мне что заготовлено у бога».

Есть слабые, есть сильные, есть упрямые, есть уступающие, прощающие, готовые защитить тех, кто их обидел. Есть гуляки, фантазеры, скоморохи, есть кулаки, которые корку хлеба без попрека родному дяде не подадут, есть отчаянные, которые — если нет жизни — уходят с этого света по собственной воле.

В «Траве-мураве» много таких смертей. Люди умирают не дома, а в поле, а если дома, то думая о поле, о работе. Один просит отвезти его на пожню, чтоб в последний раз увидеть сенокос, другой еле тащит на горбу короб с сеном, и когда его спрашивают, почто тащишь, ведь ты стар, пора и на покой, отвечает: «Робить хочу». А третий сам снимает с книжки оставшиеся деньги на похороны и, встретив соседа на улице, говорит ему: я завтра умру. И ложится, и отходит в мир иной.

Один («Слуга народа») умирает, как пишет Абрамов, «на посту продавца маленькой деревенской лавчонки» и всерьез считает эту работу свою постом, где он служил народу, другой (в «Завете отца») уходит за несколько месяцев до пенсии с фабрики — не желает *на количество* работать, а третий («Спустя четверть века») всю молодость наганом промахал, все своих земляков раскулачивал, а остался ни с чем, с пустыми руками и пустой душой.

Есть в книге и «силираты», и мастера, и раскулаченные девки, прибывшие после долгой разлуки в род-

ную деревню, и старики, которые ждут тепла, чтоб посмотреть, как на горбылях земля первую отпотину дает, и умереть, и вдовы, которые берегут подарки своих мужей (какое-нибудь медное колечко), все еще ожидая, что те вернутся с войны.

Есть добрые сыновья и внуки, бессребреники и святые, и есть с «волчьими сердцами», доводящие своих стариков до петли.

Есть блокадники, которые в самые тяжелые минуты не плачут, потому что тому, кто пережил блокаду, «грех великий плакать», есть пьяницы, разрушающие семью, есть «коммунарки», которые, вопреки здравому смыслу и удобству жизни, не хотят покидать своих коммуналок.

Вот еще несколько историй из «Травы-муравы».

« — Что это тебя, Максимовна, так к земле пригнуло?

— Как не пригнет... У сердца-то моего сколько лежало... Пятеро своих, да сына трое, да дочери четверо».

«Восемьдесят три года. Грузная, тяжелая. Идет по улице — копна сена ползет. И только глаза молодые, полные жизни.

И тетя Катя любила приговаривать:

— Тело просит земли, а душа любви».

...« — У тебя глаза-то светлые, а у девок твоих черные. В кого?

— В кого, в кого? Девки-то не много плакали. У матери тоже были черные. Это от слез облезли, слезой краску-то съело».

А вот новелла «Майка-плотник».

«Удивлению моему не было предела: девка-плотник! И добро бы там какой-нибудь хлевок сварганила, сарай сколотила, ну, баньку, наконец, а то ведь дом срубила. И какой дом? Ладненький, веселенький, со све-

телкой-чердаком, а у той светелки-чердака еще балкончик с точеными перильцами — терем!»

Очень этот терем напоминает терем, который был изображен на картинке, купленной на рынке в рассказе «Пролетали лебеди». Только тот был сказочный терем, придуманный, а этот настоящий, да и хозяйка в этом терему не нарисованная, а настоящая красавица: «легкая, синеглазая, грудастая — не каждый день такую увидишь».

Но — не берут Майку замуж. Мужики говорят: не хотим топора в кровать. Так и садится в тридцать лет за стол одна.

«Топор счастья бабе не приносит», — говорит мать Майки.

Как всегда, эти истории у Абрамова печальны, но и, как всегда, заключен в них высший урок и высшее оправдание.

Что делать людям, если не имеют они иной жизни? Надо прожить *эту* жизнь так, чтоб не стыдно было взглянуть друг другу в глаза. А деревня — это десятки, сотни, тысячи глаз. Идешь по деревне — тебя все окна видят, все души, населяющие эти избы, и даже предки с кладбища смотрят (потому что рядом оно), как идешь.

Не виноваты эти бабы, что их жизнь к земле пригнула, что слеза цвет глаз выела. Да и Майка-плотник от нужды научилась топор в руках держать. Пятеро их — и все девки — осталось у матери после войны. Кто гвоздь вколотит, доску прибьет? «И вот Майка... с малых лет начала за топор хвататься».

Нет счастья сердцу, так дал бог счастья рукам. Голове смышленой, душе доброй.

Таких, как Майка-плотник, Абрамов ценит. Таких любит. Такими он восхищается.

Ничто так не восхищает Абрамова в человеке, как

стоическая верность труду. Как такой же стоицизм в отношении жизни, когда человек принимает удары судьбы с высоко поднятой головой.

«Трава-мурава» — песнь песней Абрамова о таких людях. Она продолжение песни песней о народе, которая была пропета в его романах и повестях.

* * *

В «Траве-мураве» есть короткий рассказец. Название у него «Совесть», а подзаголовок: «Из жизни одного известного ученого». Приведем его целиком:

«В десятом классе наголо, под нулевку остриг волосы. Чтобы не ходить на танцы, не убивать время на пустяки. А как же? Мать работает прачкой, по двенадцати часов стоит у корыта, а он развлекаться будет?

Каждый час, каждую минуту — математике!»

Этот рассказ можно отнести к самому Абрамову. Каждый час, каждую минуту — литературе! Так относился Абрамов к своему труду.

Все, что отвлекало от работы, расстраивало его страшно. Ксении Петровне Гемп Абрамов сказал незадолго до смерти: «Что-то моя жизнь стала завертываться: Япония, Америка, ФРГ...» Он много ездил. Но из всех поездок — будь то Новгородчина, Север или заграница, он спешил домой, в Ленинград. К своим четырем стенам, к своим бумагам.

За «Чистой книгой» должно было последовать «Житие Федора-Стратилата» — повествование о себе, о своей жизни и жизни своего поколения.

Стратилат — это воитель, а Федор Абрамов был воителем. Но как и все русские писатели, он был еще и государственник. Что означает это понятие? Прочтите записку Н. М. Карамзина «О древней и новой России»,

записку Пушкина «О народном воспитании» — и вы поймете. Других примеров не нужно. Пушкин писал по поводу своей записки: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но ненадобно же пропускать случая, чтоб сделать добро».

И Карамзин, и Пушкин хотели *помочь*: их не поняли — это другое дело. Пушкину за его записку «вымыли голову», а Александр Первый, который попросил Карамзина высказать свои мысли о древней и новой России, обиделся на историографа.

Но вновь и вновь русские писатели старались помочь и *подсказать*. То же делал и Федор Абрамов. Он был убежден, что *слово* есть такое же важное для державы *дело*, как и всякое другое дело.

Слишком многое в истории человечества зависело от слова. «В слове, — писал Абрамов, — сокрыта самая великая энергия, известная на Земле, — энергия человеческого духа». Слово могло строить, слово могло и разрушать. Раздавшееся вовремя слово сильней взрыва ядерного устройства — из-за него сотрясались уклады и уходили в прошлое целые эпохи. Слово не сразу производит такой эффект — но перевороты, которые оно готовит в жизни людей, сильнее природных катаклизмов.

Поэтому, — настаивал Абрамов, — «в век неслыханной, небывалой спекуляции словом... нам, писателям, дано вернуть слову его изначальную мощь и силу».

А для этого нужно неустанно, выматывая себя, работать. Искать это слово, отмывать и отчищать наслоения штампов, казенщины, налипшей от частого употребления грязи нечистых рук. Старое слово может заиграть, как играют отмытыми красками картины после трудов художников-восстановителей, художников-реставраторов.

Писательские принципы Абрамова были просты: знание звучащего устного слова («родная говоря»), книжная культура (про себя он говорил, что каждый день «пополняет колодец»), знание эпохи (через личный опыт и приобщение к документу), нравственный максимализм, исповедальность.

Литература без языка — без живородного, сильного, волевого слова — слова-образа — была для него растрачиванием бумаги. Мастерства не хватает? — спрашивал Абрамов. — Значит, нет идей.

Сама идея заключена в слове — в независимом, чистом, свободном слове.

Вот почему, считал он, все решает талант. Талант это и дар слова, и «масштаб личности». «Все определяет масштаб личности» — таков был приговор Абрамова по этому вопросу.

Пока жив был Абрамов, одним человеком было больше, перед которым стыдно было совершить дурной поступок, произнести лживое слово. Были и есть такие люди в литературе и в жизни. На них, можно сказать, земля держится, совесть народная опирается. Хуже всего круговая порука, всеобщее признание, что если ты делаешь плохо, то и я могу делать: мы повязаны этим договором, молча заключили его. В такой обстановке все валят на всех и самый естественный и законный вопрос, который возникает у каждого: а что я, хуже других?

Такие состояния общества самые гибельные, самые провальные. И счастье любой эпохи, если в ней найдется человек, который скажет этой круговой поруке: нет.

Когда накатывала пора всеобщей хвалы или всеобщей хулы, Абрамов не принимал в ней участия. Когда ему однажды позвонили с телевидения и попросили откликнуться на событие, о котором тогда шумели во

всех газетах, а иные поэты даже слагали в его честь стихи, он сказал: я выступать не буду, я этого события не одобряю.

А если он поднимался на трибуну и брал слово, то люди знали: Абрамов *что-то* скажет. Пустословить не станет, сотрясать воздух не будет, по бумажке барабанить не обучен.

Потомки, может быть, не оценят этой его смелости. Для них само собой разумеющимся будет, что писатели (и не только писатели) не выступают по бумажке, не повторяют, как попугаи, чужих слов. Для них никакой доблестью не покажется, что человек не оглядывается, не прибавляет к каждому слову оговорку, уточняющую, смягчающую, сводящую смысл правды на нет. Но людям эпохи Абрамова приходилось оглядываться, да еще как. Без цитаты они на возвышение не поднимались. Без свыше спущенного указания рта раскрыть не смели. Так что оценим все по счету истории. Каждой эпохе — свой критерий и своя мера суда.

Первый секретарь Пинежского райкома партии, показывая мне на стул, стоящий возле его стола, говорил: «Вот на этом стуле сидел Федор Александрович. Если бывает в Карпогорах, не минует райкома. А то и специально приедет, чтоб выложить, что у него на душе. Хотя вроде бы у него дома телефон есть. Нет, не звонит, сам является, и с порога: что у вас за безобразия, доколе все это продолжаться будет?»

И не в просительном тоне это делалось, а в громовом, абрамовском. Ссорились писатель и секретарь райкома. Все же, с одной стороны, «хозяин района», а с другой частное лицо, Абрамов даже депутатом не был.

Петру Петровичу Дудочкину, писателю из Калинина, ведшему войну против бюрократов и против «зеленого змия», он писал: «Петр Петрович, да не анекдот

ли это? Дудочкина, честнейшего человека (по писаниям его сужу), исключили из партии. Ну и гады, ну и сволочи! Знать, крепко насолили Вы им.

Выше голову! Это только украшает Вас».

Дудочкина в партии восстановили, а высокий чин, с которым он боролся и который добился его исключения, был изгнан из Калинина.

Были и другие боли. Боль о повальном осушении болот, о той же неискоренимой водке. «Разговор о болотах, — писал Абрамов Дудочкину, — как все это дельно и хорошо!

Только ведь не послушает нас с Вами чиновник: изведет, «изничтожит» болота да еще премию от государства получит.

Но все равно, в меру сил своих надо сражаться за природу с писательским перышком, хотя опять же не могу не сказать: как он жалок, наш инструмент, по сравнению с всесильной дубиной того же чиновника».

И все же это «перышко» он против «дубины» поднимал.

Всюду, где мне пришлось пройти по следам Абрамова, я встречал благодарное воспоминание о нем. Будь это отдел культуры Архангельского облисполкома, музей, Пинежский райком партии, библиотека в Карпогорах, сельский Совет, клуб, семья художника-самородка в районном центре, наконец, архив.

При слове «Абрамов» люди светлели, с какой-то печальной радостью отзывались на разговоры о нем. В Архангельске, где его долгие годы не издавали, где «Правда Севера», кроме «Письма земляков», не напечатала ни одного абзаца о нем, слово «Абрамов» действовало, как пропуск, предъявляя который можно было знать, что разговор будет откровенным до конца.

* * *

Защищая от своих будущих критиков замысел «Чистой книги», Абрамов писал: «Когда-то, в пору, когда все оценивалось с точки зрения задач надвигающейся революции, справедливой критике подвергалась известная «теория малых дел». Ну а сегодня? Нелишне сегодня как раз подумать о значении так называемых малых дел, которые, складываясь, составляют большое, о каждодневном, совестливом исполнении каждым гражданином его конкретной работы, без чего, я убежден, неосуществимы никакие грандиозные планы и программы».

Остались главы романа, остались наброски. Когда они будут опубликованы, мы узнаем им цену, как узнаем и цену замыслу Абрамова. Сейчас важно отметить другое — путь его мысли. Путь, если хотите, его идеала.

Вспомним «Могилу на крутояре» — это один идеал. Это идеал юности, идеал детских снов и мечтаний, идеал весны новой эры. Как говорил Абрамов в выступлении по телевидению, люди той эры были богатыри, донкихоты, колоссы. Дань своего уважения к ним он отдал в «Доме».

Но, решая «проклятые вопросы» «в масштабах всего шарика», они забывали о грешной земле. Их порыв был красив на гребне событий, в момент катаклизма, но не годился для жизни без схваток и битв. Тут нужны были терпение и выдержка «великого коммунара». Тут нужно было подвижничество людей типа Калинцева.

Абрамов хотел показать в своем романе деловую Русь — Русь, которая умела копить, строить, учить детей, не транжирить данные ей природой богатства. В «Чистой книге» должно было найтись место и умно-

му купцу, и русскому промышленнику, и интеллигенту, и рабочему. Деловой человек возник на Руси не в двадцатом веке, не в результате НТР, он появился гораздо раньше.

Что есть польза? — спрашивал Абрамов. Польза ли только то, что немедленно дает отдачу, результат, прибыль, или то, что, как подлинный капитал, можно тратить века?

Говоря о том, что в русском характере заложено желание решить все проблемы разом, он хотел бы, чтоб мудрость и наследование опыта скорректировали это желание.

Для понимания пути мысли Абрамова очень важен один персонаж, который он вывел в повести «Мамониха». Повесть эта публицистическая, может быть, самая публицистическая из повестей Абрамова. Но в ней схвачен *тип* — и, не побоимся сказать, — тип эпохи.

Это Геха-маз — полукрестьянин, полурвач, полумашинный, полудеревенский человек, который двоится между техникой и природой и, не щадя ни техники, ни природы (потому что и та и другая *не свои*), разрушает и ту и другую.

Геха-маз возрос на гибели деревни, на разорении деревни. Он питался этой гибелью и этим разорением, как питается растение навозом. Чем больше навоза, тем и выше рост.

И Геха вырос до невероятных размеров. Когда он со своим МАЗом едет по деревне, все дома дрожат. Дрожат в буквальном и перенесном смысле, ибо Гехин МАЗ еще не один такой дом вывезет и продаст на дрова.

Геха-маз разоритель полей и разоритель леса, и, вместе с тем, он хозяин образцового хозяйства, которое пока работает на него одного, но — повернись

иначе обстоятельства — смогло бы работать и на всех.

Порядок у него на участке примерный. Все в ниточку, липы и тополя стоят не просто так, а забор подпирают, и всего вдоволь: «Яблони, груши, сливы, кустарники со всякой ягодой», «скотинка с крылышками» (пчелы), грядки с клубникой, огурцами и помидорами — и «ни единого сорняка, ни одного клочка пустующей земли. Все разделано, разрисовано — руками, граблями, солнцем, известью — не сад, а картина».

Да кто же все это сделал? Он самый — Геха-маз. Никто ему не помогал, разве что его МАЗ, которым он пользуется, как своим. В том-то и дело, что МАЗ служит ему, а отдай этот МАЗ Гехе и скажи ему: служи себе и государству, он, может быть, стал бы служить.

«А климат, между прочим, позволяет, — говорит Геха. — Я в Прибалтике и Германии служил — не так, чтобы сто очков нам. Может, зима только помягче. Хорошо. Мы зимой шубы носим, а почему для яблони нельзя какую-нибудь лопотину обмозговать? Мало соломы да тряпья всякого?»

У Гехи на устах такие слова, как «рацпредложение», «рационализация по первому классу», «у немцев вон дома каменные, а мы, победители, в каких-то деревянных хлевушках живем».

Много в его языке демагогии, но есть, так сказать, и ценный опыт. На северной земле, где огороды чахнут и избы разваливаются, у Гехи все цветет.

А дом? «Хоромы барина, стоявшие на этом месте, — пишет Абрамов, — сожгли местные сопливые революционеры еще в гражданскую войну... но были ли они лучше и богаче Гехиного дома — это еще вопрос...»

Клавдий Сытин, приехавший в Мамониху повидаться с родной избой и оплакать ее, не может понять, что

же такое Геха-маз — зло или историческая необходимость?

По всем статьям — зло, потому что кобелей развел, чтоб сад и дом охраняли, потому что МАЗ государственный эксплуатирует, а забор свой колючей проволокой обнес. И хватка у него такая, что, если зажмет железной пятерней, не вырвешься. И все-таки, не будь этого Гехи, что стало бы с Резановым и Мамонихой? Они бы совсем в землю ушли.

Между Клавдием и Гехой происходит такой разговор:

«А по-моему, — сказал Клавдий Гехе, — дак это твоя работа. Я недавно Михеевым усом прошелся — весь бор перерыт-перепахан, весь лес провонял бензином. Да с чего тут будет птица жить? Кусты, и те скорчились... Листы, как тряпки, висят...

— Ай-ай, опять слезы по кустикам.

— Не по кустикам, а по Мамонихе. Вон ведь ее до чего довели. Посмотри!

Клавдий Иванович махнул рукой в сторону деревни.

— А кто довел-то? — резко, в упор спросил Геха.

— Кто-кто... Я думаю, разъяснений не требуется...

— А ты скажи, скажи. Молчишь? Ну дак я скажу. Ты!

— Я? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!

— Во-во! Ты двадцать лет не был, и другой двадцать, да третий... Да какая же тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера. Ездит вашего брата каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо... Геха-маз Мамониху загубил. Да ежели хочешь знать, так только на Гехе-мазе тут жизнь и держится. Непонятно?»

И Геха-маз прав. С одной стороны, он продукт развала деревни, с другой — он еще держит в руках хотя

бы клочок земли, который, дай этому Гехе-мазу развернуться, мог бы стать не клочком, а большим полем. Одного не хватает в Гехе: души. Если б была душа и взгляд государственный, если б мозги Гехи в сторону общей пользы развернуть и развал — с его помощью — обернуть в возрождение, то цены бы этому Гехе не было.

Тут нужны душа и культура. Потому что на одном инстинкте самосохранения не протянешь. Потому что за колючей проволокой образцовых участков не отсидишься. Потому что если наваливаться на какое-то дело, то всем миром.

Смог бы Абрамов взять ту высоту, на которую замахнулся? Одолел бы он «Чистую книгу» и свою несвободу, от которой хотел освободиться? Это вопросы не праздные. Это вопросы, не обидные для Абрамова. Они, по существу, обращены к целому поколению, одним из лучших сыновей которого был Федор Абрамов.

Оставим их без ответа.

Поклонимся Абрамову за то, что он сделал. Поклонимся его мужикам, бабам, его старухам и детям, небу, которое он воспел и с которого «одичало смотрит» в летнюю ночь первая звезда, его лошадям, пожням, скудным подзолам, красным борам, воздуху, который чист, как спирт, Пинеге, далям за Пинегой.

Это страна, которая не была бы открыта нами, если б не Абрамов и не слово Абрамова.

* * *

Мужчины в роду Абрамова жили недолго. Абрамов, отец и братья которого умерли молодыми, считал роковыми для себя пятьдесят пять лет. Но вот минули эти годы, и судьба пощадила его.

Но — ненадолго.

15 мая 1983 года меня разбудил звонок. Звонил Феликс Кузнецов. Он сказал мне, что умер Абрамов. Поверить в это было нельзя. Я тут же позвонил в Ленинград Виктору Конецкому. Он ничего не знал. Через несколько минут раздался его ответный звонок. Он сказал: «Это правда».

* * *

21 апреля я был у Абрамова в гостинице «Москва». Мы говорили час. Он собирался лететь в Испанию в туристическую поездку, но температура уложила его в постель. Был теплый — не по сезону теплый — апрельский вечер. Абрамов лежал в огромном номере на большой кровати, на голове у него было полотенце. Несмотря на жар и на его плохое состояние, он выглядел, как всегда, молодо. В его темных волосах ни сединки, глаза живые, лицо смуглое, как будто загорелое. От духоты, которая его мучила, он сбросил с себя одеяло, и я увидел его загорелые, крепкие, молодые ноги.

Он был еще совсем молод, крепко сбит, мускулист, упруг, и я сказал ему об этом. Он слабо усмехнулся и спросил, как жизнь.

Уходя из гостиницы, я думал, что болезнь его скоро кончится, что мы так же скоро увидимся и я, быть может, приеду к нему в Верколу. Впечатление это усилилось, когда он на следующий день позвонил мне и уже бодрым голосом сообщил, что возвращается в Ленинград, что в Испанию не поедет, а летом ждет меня у себя на Пинеге. Мы говорили долго, и я успокоился, волнение за его состояние у меня почти прошло.

Я дал ему слово, что в июле—августе буду у него в деревне.

Но я приехал туда раньше, 18 мая 1983 года два самолета ИЛ-14 приземлились на песчаной полосе Карпогорского аэропорта. От Карпогор пятьдесят километров до Верколы; туда, в Верколу, и везли мы тело Федора Абрамова, завещавшего похоронить его на берегу Пинеги.

Сначала сел самолет, в котором были те, кто приехал на похороны. Затем приземлился тот, где был гроб с телом Абрамова. Когда мы вышли на летное поле, то я увидел у домиков аэропорта сплошную стену людей. Люди стояли, как лес, как темные северные ели, локоть к локтю — стояли недвижимо и молча, а над ними, просвечивая через тучи, сочился белесый свет — последний свет майского дня.

Гроб выгрузили, и мы пошли за ним — пошли через редкий сосняк по песчаной дороге, в которой вязли колеса шедшей впереди машины. Процессия двигалась медленно и так же медленно втекла в поселок, где по сторонам стояли уже не сосны, а высокие черного дерева дома с маленькими оконцами на первом и втором этажах, люди на дощатых тротуарах, люди в распахнутых окнах — дети, бабы, старики — весь карпогорский народ. Никто не созывал их на эти похороны, они, как и ждавшие в аэропорту (а ждать пришлось несколько часов, самолеты запоздали), изъявляли *свою* волю и *свое* желание. Я не видел любопытствующих, которые всегда есть при любом горе и готовы сунуть нос в чужое несчастье. На лицах шедших за гробом и провожавших его взглядами было написано, что что-то умерло в каждом из этих людей вместе со смертью Абрамова. Что-то погасло.

Полтора часа шли мы под завыванье оркестра до околицы и здесь остановились. Карпогоры простились с Абрамовым. Теперь предстояло ехать в Верколу, и машины увезли гроб и провожавших его в ночной мрак.

Не стану описывать прощания в Верколе. Толпы у гроба, толпы на улицах, толпу над могилой, — не знаю, хоронила ли когда-нибудь Россия так писателя после похорон Льва Толстого. Я смотрел похороны Толстого в кино: такая же живая река тянулась и за гробом Абрамова. Причитали над могилой не только бабы, но причитали и мужики — рыдая, захлебываясь и кашляя, как рыдают и плачут мужчины.

Я слышал, как старухи говорили: у одной Абрамов спас сына от тюрьмы, другой выхлопотал пенсию, третья сказала, что просто был добрый человек. Молодые женщины с колясками, в которых спали дети, стояли возле могилы. Произносили речи. Раздавали кутью. Последнее солнце лежало на высохшем за эти дни лбу Абрамова, ветер развевал его поседевшие волосы. Последняя ласка родного неба касалась его лица.

Хоронили его в ясный, ослепительно яркий день. Небеса раскинулись над простором, открывавшимся с высоты угора, на котором была вырыта могила. Внизу зеленел луг, далее извивалась, блестя на солнце, Пинега, а за нею — бог мой! — леса уходили в вечность. Иначе не назовешь эту не стесненную ничем даль, это море леса, сливающееся неизвестно где с горизонтом.

Самолетик АН показался в небе, везя откуда-то почту и пассажиров, и задержался, сделав несколько кругов над могилою. Кланялись до земли люди. Суровые лица Василия Белова, Владимира Личутина виднелись в толпе. Стоял как кряж Владимир Солоухин. И резкий ледяной ветер дул из-за Пинеги, и белели на той стороне реки развалины монастыря.

Этот простор открывается сейчас с высоты, где — рядом со своим домом — похоронен Абрамов. Могила вся поросла цветами. Вырезанная из сосны пирамидка со звездочкой венчает холм. У пирамидки, желтой, как сосновая слеза, чуть-чуть расправлены два несмелых

отростка. Живой Абрамов смотрит с портрета, уже покоробленного дождями.

Пирамидку вытесал Дмитрий Клопов. Последний поклон отдал человеку, который был ему как отец. Да и только ли Клопову он был отец? «Родится человек на смерть, а умрет на живот», — говорит пословица. Слова эти не могут утишить боль. Но они как-то смягчают ее.

«У народа нет смерти» — глаголет другая пословица. Добавим, что нет смерти и у правды.

Игорь Петрович Золотусский

ФЕДОР АБРАМОВ

Редактор
Е. Г. Кожедуб
Художественный редактор
Н. Д. Викторова
Технические редакторы
Г. П. Мартьянова,
В. Д. Коннова
Корректоры
Н. Д. Бучарова,
Л. В. Конкина

ИБ № 3769
Сдано в набор 10.04.86. Подп. в печать 29.08.86. А02436. Формат 70×90[1]/32. Бумага типографская №1. Гарнитура школьная. Печать высокая. Усл. п. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 6,0. Уч.-изд. л. 6,9. Тираж 50000 экз. Заказ № 269. Цена 20 к.
Изд. инд. ЛХ-460.

Ордена „Знак Почета" издательство „Советская Россия" Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Сортавальская книжная типография Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 186750, Сортавала, Карельская, 42а.

20 к.

«Писатели Советской России»



Москва «Советская Россия» 1986